

Константин Николаевич Леонтьев

**Сфакиот**

# Константин Леонтьев

## Сфакиот[1]

### *рассказ из критской жизни*

#### I

Незадолго пред критским восстанием 1866 года. Весна. Большое село на одном из островов Архипелага. Белые, чистые каменные домики в зелени персиковых, апельсиновых и миндальных деревьев, с плоскими террасами вместо кровель. Тихое море и дикие, пустынные скалы в стороне; по другую сторону виден целый лес маслин, узловатые стволы и седая зелень, как у вербы. Небо чисто. Вечереет. Вдали город, которого здания все больше и больше краснеют от зари, занимающейся за морем.

На дворе небольшого дома, с восхитительным видом на море и берега, сидят беседуя молодые новобрачные: Яни Полудаки и жена его Аргирб (то есть серебряная). Ему двадцать пять лет, ей семнадцать с небольшим. Он критянин, родом из Сфакийских или Белых Гор, переселился на другой остров, на родину

своей новобрачной и в ее приданный домик.

Яни очень высок, легок в движениях, силен и красив; он белокурый и с голубыми глазами и потому кажется еще моложе своих лет. Но в нем виден воин по духу и паликар настоящий. Одет так, как одеваются молодцы на греческих островах, в длинную феску и широкие шальвары, подобранные под колена.

Аргиро напротив того: брюнетка, среднего роста; черты лица ее чрезвычайно нежны и строго-правильны; глаза ее велики и необыкновенно черны. В лице ее смесь чего-то простодушного, детски-серьезного и вместе с тем по временам лукавого. Одета она почти по-европейски, довольно скромно. Дикого цвета шерстяная юбка, красная гарибальдийская рубашка и темный печатный платочек на голове.

Яни сидит на дворе своем на стуле, курит и пьет кофе, возвратившись из лавки, в которой он целый день торговал. Аргиро стоит перед ним с подносом, опершись на стол; они долго молча смеются, глядя друг на друга.

Яни, с сияющим от счастья лицом. —

Аида! Аргиро моя, поди ко мне поближе, сядь поближе около твоего мужа. Ну, теперь тебе хорошо? Скажи мне, Аргиро, моя голубица, сколько тебе лет? Я считаю, что тебе нет еще восемнадцати.

Аргиро, *садясь*. — Перешло за семнадцать этой осенью. Что тебе?

Яни. — Тебе семнадцать, а мне двадцать пять. Давай считать, у нас теперь шестьдесят шестой год, а в шестьдесят первом мне было двадцать лет. — *Молча глядит на нее и, вздыхая, приближает ее к себе.* — Ты не знаешь, собака Аргиро, как я за тебя и за черные глаза твои умираю! Все мне в тебе нравится. Аида, милая моя, сделай еще такое сердитое лицо.

Аргиро *смеется*. — Не могу теперь, не могу.

Яни. — Знаешь, задушу я тебя когда-нибудь, анафемский час твоего рожденья! Весенний цветочек ты мой; воздух около тебя и тот для меня лучше всякой розы! Такая у меня к тебе любовь! Что делать. В этом нет и греха, потому что мы венчались с тобою. Правда ведь? А то, что ты говоришь про Крит наш и про братнину жену, это дело старое.

Что я был влюблен, это правда. И что я отравился, и это тоже правда, моя свечечка ты разубранная, разукрашенная!.. Не сердись, не сердись же, радость ты души моей, сокровище ты мое, не сердись. Не уходи с колен моих. Не огорчай мужа, прошу я тебя, моя душенька. Посмотри сюда. Взгляни, жасмин мой садовый, чем я не муж молодой? Полюбуйся... Лицо белое и румяное у меня, ростом кто у вас выше меня? У кого глаза синие такие, как у мужа твоего, Аргиро, несчастная твоя голова! Волосики у меня белокурые, еще понежнее твоих будут, цыганка ты черная. Рука моя... Постой немного; отодвинься, дай мне вытянуть руку эту. Гляди теперь. Разве не ужас моя рука? Только на войну мне идти, — не правда ли? — *помолчав, вздыхает.* — Я очень в тебя влюблен, Аргиро моя! На муле утром еду в город — ты на уме; думаю, как я вечером к тебе возвращусь; в лавке масло продаю, думаю о том, как я видел тебя раз под маслиной еще прежде, когда ты и не выросши была. Видишь, я честность твою в тебе люблю и обожаю. Нравится мне очень, что ты, кроме меня, жениха своего, никогда ни на

одного молодца и смотреть не хотела. А мало ли у вас тут их? Все дети красивые и лихие. Все «деликанлы»[2], если так, для примера, по-турецки сказать. Да! Честность твоего поведения мне нравится. И я скажу тебе, золотая моя, что если ты меня обманешь, то я к деспоту[3] разводиться не пойду, как другие, а возьму я тебя вот так за эту косу твою, выну пистолет из-за пояса красного моего и убью тебя. И разрежу потом мертвую псицу я тебя на четыре части и на четыре стороны далеко заброшу куски. А головку твою красивую я, за волосики взяв и слезами моими омывая, снесу и опущу в самое море, чтобы никто не видал, как она портиться будет и как будет гнить твое нежное личико... А там пусть паша сошлет меня работать в Виддин, на дальний Дунай, или пусть повесят меня за это турки у стен крепостных. И я буду висеть — молодец, как гроздие виноградное качаясь. И скажут все люди, проходя мимо: «Это тот самый наш Янаки, тот Полудаки висит как виноградное гроздие и качается, который жену свою милую Аргиро пистолетом, взяв за косу, умертвил и разрезал ее потом на четыре куска, а го-

ловку красивую в море отнес, омывая с нее слезами теплую кровь!..» Вот как я за мою честь сердит и зол... А ты ничуть даже, бре! не боишься, я вижу. Аман! голова твоя глупенькая! Не боишься?.. Ты ее пугаешь, а она все молчит и ласкается... А что ты не боишься моих угроз — это, пожалуй, тоже не дурно. Ты, значит это, говоришь: «Что мне бояться? Могу я ему изменить разве?» А я тебе, моя дорогая, вот что скажу. Влюблен я был в эту Афродиту, которая за братом моим замужем, и отравиться хотел, все это правда; только женился я на тебе все равно, как ты за меня замуж выходила, безгрешным мальчиком и таким невинным, что меня можно бы сейчас в иеромонахи на Святой Горе посвятить[4]... Понимаешь? апрельский цветочек ты мой, гвоздичка моя несравненная. Я согласен рассказать тебе об этих прошлых делах и о любви этой моей... Только ты не ревнуй, потому что это все прошло и теперь пусть ослепну я и пусть душа моя не спасется, если я тебе, царевна моя и супруга, обвенчанная попом, когда-нибудь даже в помысле изменю! Поняла? Слушай же! Сядь лучше... Вот так!

## II

Яни. — Что ж, рассказывать?

Аргиро. — Говори, говори! Давно я хочу все это знать.

Яни. — Хорошо. Расскажу все по совести. Когда наш капитан Коста Ампелас (ты слышала об нем? он еще жив и теперь и из первых капитанов у нас в Сфакийских горах), когда Коста Ампелас приезжал по делам своим в Канею, мы с братом Христо всегда шли при нем пешие. Христо в то время было двадцать четыре года, а мне только двадцать. И были мы не одни с братом; бывало нас при старике капитане молодых ребят человек по шести, по семи, по восьми. Все молоденькие дети смелые, все высокие, все красивые; у всех по ружью на плече и по паре пистолетов серебряных и по большому ножу за кушаком красным; все в новых цветных шальварах и курточках, и у всех рукава выше локтя засучены, точно мы все собираемся в кровь турецкую выше локтей руки наши сейчас погрузить. И от колен у всех ноги разуты, голые, без чулок, не потому, чтобы чулок не было дома, а так... для



фигуры, знаешь! И башмаки хорошие, когда к городу подойдем, наденем. А дорогой, со своих ужасных и невиданных другими людьми гор спускаемся в таких критских высоких сапогах с мягкой и толстою подошвой, как ты у меня видела, Аргиро, и знаешь их сама.

Идем. С камня на камень и опять с камня на камень, милая ты моя, как козы летим, летим мы и веселимся страх! Коста Ампелас едет на большом муле; мул весь в красных кистях, и у старца капа[5] на красном подбое новая, прекрасная, и в высокой, превысокой феске сидит он, как настоящий ходжа-баши, с седою бородой.

Так едем мы по селам по всем; на нас смотрят люди; идем через прекрасные сады Серсепильи, на нас смотрят люди, и так мы в ворота Канейской крепости прямо вступаем!.. Да! и знаешь, что даже аскеры турецкие, стерегущие крепость, любуясь нами, завидовали... (Ах! Аргиро ты моя... лукавая... Все косточки твои когда-нибудь я переломаю тебе! должна ты, брё, помнить, несчастная, что у тебя за муж — за молодчик...) Да! Аргиро моя! Турки завидовали и любовались нами. Едет Коста

Ампелас наш в ворота городские, а мы около него все красуемся с ружьями на плечах, и фески все на бровь и на ухо вбок сбиты нарочно. «Вперед! Кто остановит?» Аскеры пропустили нас, и мы слышим, что они говорят друг другу: «Ну! гяуры! Ну, молодцы! Что за дети такие! Что за гяуры прекрасные».

Такие мы люди, мы сфакиоты! Вот что! Коста Ампе-лас приезжал в Канею по нашим сфакиотским делам. Ты, куропатка моя, не знаешь, что мы, сфакиоты, издавна податей порядком не платили. Кому бы принудить нас? Кому бы испугать? Камень у нас в горах такой ужасный, дорожки такие крутые, что не то лошади, мулы и ослы из нижних сел к нам не ходят и оступаются, и люди, сидя на них, боятся.

Тот же, кому нужно быть у нас по делам непременно, тот нашего сфакиотского мула нанимает. Сама ты, душенька моя, видишь, как низамскому войску трудно бы было идти в наши горы, чтобы принудить нас вовремя и сполна подати царю платить, если бы мы были приготовлены защищаться. Однако два человека все дело наше испортили, и начали

мы теперь платить. Скажи ты мне теперь, как ты думаешь, что были это за люди? Предатели или нет? Турки? Нет. Худые люди? Не знаю, как бы это сказать... А думаю, что не совсем худые. Чужие завистники из города или из других епархий, может быть... Нет, и не предатели, и не турки, и не худые люди, и не чужие завистники... А мы с братом Христо. Вот отчего я и теперь еще вздыхаю, Аргиро моя... Родине вред мы сделали нехотя... А ты вчера приревновала к братниной жене, свет мой сладкий ты, Аргиро... Вот отчего, моя Аргиро, я вздыхаю... Родину жалко свободную, а не любви этой старой. Дай Бог и ей, невестке моей, Афродите, и брату моему и детям их долго жить и состареться... А мне что? Сама ты пойми, прошу я тебя!..

Да! Мы вдвоем с братом Христо, безбородые мальчишки, головы безумные и отчаянные, все это сделали...

Стой же, вот как это было.

Коста Ампелас приезжал не раз, говорю я, по приказанию нового паши в город, об этих делах рассуждать. Новый паша его хорошо принимал. И хотя в город людей из сел обык-

новенно с оружием не пускают, но нам прощали это, и мы красовались.

Паша этот был тот самый Халиль-паша, который и теперь у нас управляет. Но теперь им очень недовольны стали; а тогда, сначала, у него не слишком дурно пошло. И первое дело, что он был обучен во Франции, учился там медицине. Стал султанским доктором, а после уж и пашой его сделали. Нашим простым греческим языком он говорил лучше нас с тобой. В обращении с людьми он был прост и все знать хотел; он обо всем расспрашивал, и сначала, приехав к нам в Крит, все как будто облегчить старался и никого не искал притеснить.

У одного из наших греков в лавке, например, все картинки висели, все наши эллинские геройства 21-го года. На одной Мавромихали, по-майноски одетый, турок пикой коллет, глаза ужасные раскрыл. Тут бедного дьяка (Господи, прости его душу!) два крепких турка схватили и вязать хотят, чтоб изжарить живого. А еще на третьей сам Маврокордато, в очках и с длинными волосами и во франкском платье, с большою бумагой в руке, на го-

родской стене стоит, город защищает. А еще на одной картинке, побольше других, Рига Фереос, который стихи писал, знаешь:

*До коих пор, о, паликары!  
До коих пор в горах, в лесах...*

и Коране, который грамматику сделал, такую женщину с земли поднимают (жирная такая, и вся в ранах). Это Эллада освобождается. Рига Фереос и сам толстый, в широкой одежде, стоит, точно монах; а Кораис худенький, худенький, согнулся, как будто ему трудно такую толстую поднять, и одет он в такую франкскую *велладу*[6], какую консула и другие великие европейцы на балы надевают. Паша раз ехал мимо его лавки верхом, слез с коня и вошел к нему в лавку. Человек испугался, а паша купил у него несколько вещей, посмотрел на стенки и говорит: «У тебя много картин! Нейдет только так их открыто держать, спрячь их себе в дом!» И больше ничего не сказал и ничего человеку не сделал. Вот он каким справедливым притворялся. Очень хитрый человек и очень образованный. Во все мешался сам.

Раз тоже верхом за город ехал, и бросились пастушьи собаки на его лошадь и испугали ее. А пастухи не успели удержать собак, которые были ужасно злы и рвали многих. Паша подозвал пастуха, сошел с лошади и сказал ему: «Если твои собаки на меня бросились так, то что же они могут сделать с пешим и бедным человеком? Разве, ты держишь их, чтобы за прохожими охотиться? Поди сюда поближе!» И сам снизошел дать пастуху три пощечины. Другой раз пешком пошел и увидал, что турок конный по сельскому засеянному пшеницей полю едет. Остановил и в тюрьму его: хлеб не топчи.

Я хвалю этого человека, хотя он и турок; но мы, христиане, должны помнить, что все это хитрость!

Ну, хорошо! Коста Ампелас к нему ездит. Халиль-па-ша его принимает с уважением.

— Что делаешь? Как живешь? Капитан Ам-пелас кланяется.

— Что делаю! Кланяюсь вам, моему господину. Дружба и дружба такая... Страх!

— А подати?

— Что ж, паша-эффенди; земля бесплодная,

камень, снег зимой, стужа, дикое-предикое место... Одними овцами какими-нибудь живем. Сами посудите...

— Ну, да, камень и снег... Овец иногда и чужих крадем десятками в нижних округах... И мула уводим — мул нам годится... Даже и невест богатых, и тех похищаем насильно...

Это, значит, паша так говорит, например. И говорит он еще:

— На вас, сфакиотов, все греки в городе и в нижних селах за это жалуются. Говорят, что вы ужасные разбойники.

А капитан ему вздыхает и жалуется (чтоб его как-нибудь тут в городе паша не задержал).

— Это правда, господин мой! Таких разбойников, как наши молодые ребята горные — свет не видывал. Нам за ними усмотреть очень трудно... Что нам с ними делать прикажете? Прикажете, мы старшие, то и сделаем с ними, что вы нам прикажете.

— Если вы не можете за ними смотреть, я начну сам, — угрожает паша.

Так это дело идет между ними понемножку. А податей все нет! И терпелив паша, не

гневаются. Увы! он хитрее нас был. Вышел опять случай, овец наши к себе снизу опять загнали и кой-какие дела другие молодецки обработали. Халиль-паша не ищет строгого наказания. А вот каким средним путем идет, чтобы жители другие и горожане видели, что паша хочет сфакиотов обуздать, но вдруг не может. А наши: «Вперед, ребята! еще что-нибудь давайте сделаем! Не бойтесь, у паши либо *лицо очень мягкое*, либо он хочет всем людям на острове понравиться, чтоб его все и сфакиоты и не сфакиоты любили. Аида! Вперед, паликары мои!.. Не бойтесь».

Вот глупость-то.

И больше всех глупостей мы с братом Христо глупость задумали.

Теперь смотри, Аргиро моя, начну я сейчас о любви этой говорить. И если ты хочешь правду знать, не мешай мне рассказывать, не ревнуй. Зачем тебе ревновать? Я муж твой, говорю я тебе, и люблю тебя сильно.

### III

Первый раз мы с братом Христо увидели эту Афродиту, которая теперь ему жена, на



арабском празднике около Канеи.

Отца Афродиты зовут Никифор Акостанд-удаки; у него есть дом в Канеи и лавка и еще дом в селе Галата, недалеко от города. В Галате у него есть масляная мельница, большая, виноградники хорошие; маслин целый лес прекрасный и много овец. Видный мужчина, полный, широкий, высокий, белый, уса́тый; богатый человек! Одевается всегда Акостанд-удаки так чисто, что удивляться надо! Я никогда не видал его иначе, как в тонком цветном сукне, и шальвары, и жилет, и все. Он на вид лучшего хорошего бея турецкого. Лигунис-бей и Шериф-бей наши, право, кажется, хуже его одеваются. Это много значит, потому что старый Лигунис-бей так красоту и чистоту, и роскошь любит, что до сих пор волосы и бороду красит европейским лекарством; а старик Шериф-бей весь белый, не красится, но каждый день не иначе, как в светло-небесного цвета шальварах красуется, и когда лежит на ковре с чубуком, в своем цветнике, между фиалками и розами, так сам издали сияет, как цветок в цветниках, и феской пунцовой, и этими небесно-голубыми шальварами, и бе-

лою бородой... Он даже на одну зиму в Париж лечиться ездил — Шериф-бей; вылечился и опять приехал. Вот какие беи! А я тебе говорю, что Акостандудаки, отец Афродиты, никак не хуже их на вид казался. Немного было только лицо его оспой испорчено. А что он за человек — хороший или дурной, затрудняюсь сказать я тебе. Одни хвалят, другие хулят. Говорят, что денег чужих процентами много в жизни своей съел. Но это его грех, его забота, а мне он худого ничего не сделал.

Когда мы его увидали, он уж давно был вдов, и было у него еще одно большое огорчение. Сына молодого у него в кофейне люди зарезали за спором одним, и осталась у него только одна эта Афродита, дочь. Она сначала была в Сиру на обучение отправлена, но когда убили сына, Ники-фору Акостандудаки стало слишком скучно одному в доме, и он возвратил Афродиту из Сиры домой.

Наш старик, Коста Ампелас, имел некоторые торговые дела с Никифором и знал его давно. Увидал его на арабском этом празднике, и стали они между собой разговаривать, а мы с братом оба смотрели на его дочь и ниче-

го друг другу не сказали тогда. Ни он мне не сказал ни слова, ни я ему ничего не сказал.

Я очень жалею, что ты не видала никогда этого арабского праздника у нас, в Крите. Это очень смешно и очень красиво. Знаешь, стены у канейской крепости огромные, высокие, древние, у самого моря; и весь город (он не велик, всего 14 000 жителей) внутри стен. А тут море. Вот под стенами у моря есть гладкое место, песок. И тут живут арабы черные, кажется, из *Миссира*[7]. Маленькая деревушка. Есть еще тут и другие арабы — арабы белые; те в шалашах, а не в домиках, немного подальше живут. Это совсем другие арабы — несчастные люди, оборванные, из Сирии. А черные арабы — это великое утешение! Веселые люди! Ты знаешь, как женщины у них одеваются? Почти как турчанки, только не совсем. Прежде всего скажем, что лицо черное это у нее открыто... Прятать нечего! А вместо *фередже* турецкого на них синие или какие-нибудь другие полосатые простые покрывала надеты.

И станут они все в круг, и арабы, и арабки черные, и у каждого палка в руке, и у жен-

щин тоже палки. Музыка — *дзинннь!!!* И начинается пляска с пением. И начинается, и начинается, и начинается. За руки не берутся, а навстречу друг другу в круге танцуют и палками по палке: «данга! данга! данга! данга!» стучат.

Музыка, песни громкие, палками стук, стук... А женщины вдруг все, как лягушки в болотах, языком защелкают, ужас как громко...

Весь народ кругом тотчас же и засмеется. Другой человек и не может так особенно языком сделать, а они умеют.

Очень весело!

Франки, из самых больших городов приезжие, и те не гнушаются этим зрелищем и веселятся им.

И что еще скажу я тебе, моя Аргиро, очень тогда красиво. Это то, что турчанки городские из лучших домов соберутся в это время на высокую городскую стену и оттуда глядят, сидя почти все толпой, потому что стена широка наверху. Головки у них у всех в белых покрывалах, а *фередже* свои они на праздник лучшие, разноцветные наденут. Итак, что вся стена наверху... не знаю, как тебе и сказать,

до чего это весело и хорошо. Цветы ли разноцветные назову это я, или как в цареградских магазинах материи дорогие на окнах разные, или... скажем, картинки такие бывают... Разные, разные *фередже* эти: красные, зеленые, желтенькие, как лимон, и голубые, как небо, и черные... Всякие...

А внизу, под стеной, и христиане, и франки, и евреи, и арабы эти и тоже турки и турчанки сходятся, — народу, народу! И мы стояли, смотрели и веселились.

Конечно, мы за родину нашу и за наши горы умираем — любим родину, но все же город, столица вилайета. И мы не так глупы, чтобы не могли этого понять, Аргиро моя!

Мы смотрели, но видели, что и на нас глядят люди хорошо, потому что мы, говорю я тебе, все молодцы и красивые дети были.

Вот встретились Никифор Акостандудаки с капитаном нашим и заговорили. Около Никифора мать его, старуха, и дочь. На вид ей не больше семнадцати лет, и платье у нее было короткое...

Аргиро, *прерывая его стремительно*. — А какое у нее было это платье?

Яни, *пожимая плечами.* — Какое? а la Франса платье. Хорошее...

Аргиро с *беспокойством.* — Нет, барашек мой, нет, Яни мой... Целую твои глаза, ты скажи мне, дай Бог тебе жить за это долго, какая у нее, у Афродиты, была одежда?.. Одежда моды?..

Яни, *вспоминая.* — Да! одежда моды. Я говорю, что ее в Сире учили. Стой, вспомнил. Кисейное розовое платье было на ней и косы сзади длинные. И серьги бриллиантовые. И пояс шелковый черный, большой, широкий с бантами, с бантами. Она хорошо была одета, Афродита!

Аргиро, с *небольшим вздохом.* — Да! Это прекрасная одежда! Хорошо. А потом что? говори, Янаки, свет мой, говори, я тебя со всею радостью моей слушаю!..

Яни *продолжает рассказ.*

— Хорошо. Она стоит, эта девушка, и мы стоим. И мы не глядим на нее прямо, и она не глядит, конечно. А я думаю, и она нас видела. Что брат подумал тогда, не знаю. Может быть, он тогда же задумал похитить ее и в горы с собою силой увезти. Но я для себя ничего та-

кого не подумал. Может быть, что-нибудь и подумал, только не помню что, вот тебе Бог мой! Конечно, как это может быть, чтобы молодец двадцати лет на молодую девушку посмотрел и уж совсем бы ничего не подумал? Что-нибудь дьявол непременно внушит ему подумать. А иногда, может быть, и Бог сам внушит какую-нибудь мысль. Например, когда ты стояла три года тому назад под маслиной и ничего не говорила, а я говорил с сестрой твоею тою двоюродною, которая за капитаном Лампро замужем. А я видел тебя хорошо. И думаю тогда: должно быть, хорошая будет скоро невеста эта чорненькая девочка. Что за глаза Бог ей дал!.. И такая сама тихая, претихая и смиренная. Вот подросла бы хоть год еще, так бы взял ее! А может быть, и демон у нее в сердце! Кто знает! А потом отошел и забыл, и уехал. А потом приехал, увидел опять и стал просить тебя за себя. Тут судьба, конечно, Божий промысл, чтоб я счастье хорошее имел, чтобы мы жили благочестиво и приятно с тобою. А бывают, конечно, и другие мысли у людей молодых и у всякого даже человека, скажем и так.

Аргиро *проницательно, несколько тревожно*. — А какие это такие были у тебя мысли, когда ты на эту на молодую девушку глядел?.. Скажи мне...

Яни, *улыбаясь и пожимая плечами*. — Помню я разве?

Аргиро ласково умоляет его. — Скажи, Янаки, дай Бог тебе жить.

Яни. — Где человеку помнить это?

Аргиро. — Скажи, Яни, радость моя! Скажи мне, мальчик мой добрый...

Яни *смеется и краснеет*. — Что я тебе скажу? Стыжусь я, море, стыжусь!

Аргиро. — Ба! жены стыдишься?

Яни. — Конечно, жены-то и стыжусь я.

Аргиро, *мрачно*. — А! значит худое это?

Яни. — Худа большого не было. А помысл один, говорю я тебе, море, помысл такой пришел. Видишь, Афродите было, как сказал я тебе, всего семнадцать лет. Косы у нее висели сзади из-под капеллины[8] этой франкской толстые, толстые. И сама она была тоненькая, а лицо у нее было белое, пребелое и свежее, пресвежее. Я посмотрел на нее и подумал: вот эта Никифорова дочь, на что она похожа? Она



похожа, мне кажется, на яйцо переваренное, очень белое и очень твердое, если его облупить и вот так посмотреть.

Аргиро, *слегка смущенно, прищуриваясь с презрением.* — Ба! какие глупые вещи я слышу!

Яни. — Я говорил, что пустой помысл. Больше ничего я и не думал. Посмотрел и отвернулся. А Никифор Акостандудаки говорит капитану нашему: «Завтра, капитан, буду вас ждать к себе в Галату, к полудню. Сделайте нам честь. И с молодцами». Посмотрел еще на нас, на меня и на брата и на третьего еще, который был тут с нами, посмотрел и обрадовался. Оглянулся, видит, турок близко нет, и говорит Ампеласу нашему, головой на нас показывает: «Надежда родины нашей!» Капитан отвечает: «Дети хорошие». Тем тут все и кончилось. Больше ничего не говорили. А на другой день поехал наш капитан в гости к Никифору Акостандудаки в Галату. — *Останавливается и смотрит на Аргиро. Аргиро задумчиво молчит, играя концом пояса.*

Яни, *помолчав.* — Аргиро!

Аргиро *не отвечает.*

Яни. — Аргиро моя? Что ты?..

Аргиро *встает*. — Ничего. Дело есть в комнате. *Входит в дом*.

Яни *остается один и думает, улыбаясь*. — Девочка еще! Мала, глупенькая. Любит и ревнует. Не рассказывай ей этого прошлого — ревнует. «О чем вздыхаешь? О Никифоровой дочери? Расскажи, расскажи». Рассказываешь, обижается. Что делать! Терпение. *Вынимает кошелек с деньгами, высыпает на стол небольшую кучку золота и серебра и считает. Потом с улыбкой*.

— Ставраки теперь меня проклинаят. Я дорого взял с него за мула, а мул с норовом и людей сбивает на землю. Ставраки завтра скажет мне: «Ты наругался надо мной, христианин-человек! Теперь я стал человек глупый пред всеми». А я ему скажу: «Что делать, Ставраки, друг мой, зачем ты не смотрел на животное это открытыми глазами? Не правда ли, что и я должен есть хлеб». Это не вредит, и Ставраки помирится. А я куплю теперь для Аригро золотые серьги, чтоб она веселилась. Я очень люблю, когда она как коза прыгает предо мною! — *Вздыхает задумчиво и потом*

запеваает клефтскую песню:

Кто же видел солнце вечером и  
звездочку полуднем,  
И чтобы девушка пошла с разбой-  
никами в горы?  
Двенадцать клефтам лет она  
разбойником отбыла.  
Никто не мог ее из молодцов  
узнать, никто!  
И Пасхой раз одной, и Светлым  
днем Великим,  
Пошли играть в ножи, и камнем  
кто получше кинет.  
И вот от молодечества ее, от ну-  
женья лихого  
Вдруг расстегнулась пуговка, и по-  
казалась грудь...  
Один то золотом зовет, а сереб-  
ром — другие...  
И говорит разбойничек один —  
молоденький им молвит:  
«Не серебро, ребята вы, не золото  
тут вовсе,  
Грудь это девушки, сосцы раскры-  
лись красной».  
«Молчи! разбойничек, молчи, мой  
умный мальчик...  
И я хочу уж мужа взять, тебя

*желаю мужем!..»*

Аргиро, *показываясь на пороге жилища, с притворным пренебрежением.* — Довольно тебе петь. Иди кушать. Мы знаем, кто такая эта девушка с вами, разбойниками, по горам таскалась. Все она же, эта Никифорова дочь! Иди кушать.

Яни *про себя:* — Она уж не сердится больше. *Идет в дом.*

## IV

После обеда Яни выходит опять на двор и садится. Аргиро просит его опять рассказывать.

Яни. — Хорошо; теперь о том, как мы познакомились поближе с этою Афродитой.

У Акостандудаки в доме в селе Галата мы пробыли до вечера. Все видели, все смотрели у него. Мельницу его масляную видели; кушали, вино пили. Афродита сама подавала капитану и нам кофе и варенье. Бабушка Афродиты, добрая старушка, сидела тут же; был еще и доктор Вафиди с женой; лучший доктор в городе и у паши в большом уважении. Акостандудаки потом за музыкой послал. При-

шли подружки к Афродите и начали мы с ними на большой террасе наверху танцевать. Хорошо провели несколько часов. Я немного стыдился; а брат Христо ничуть не стыдился даже. Подошел прямо к ней, к Афродите, и ни... даже не улыбнулся ей... ничего! Просто берет ее за руку и выводит на середину, в танец с другими становится. Она встала; но вынула тоненький *лино* платочек, подает брату и тихо говорит ему:

— За платочек будет гораздо лучше! — Сама же в это время краснеет.

Брату это показалось, кажется, обидно. Я заметил. И, разумеется, это была гордость: зачем это ей, архонтской дочери, такой богатой, руку прямо в руку сфакиотскому горцу класть? Однако они танцевали долго вместе; брат за один конец платочка держит, а она за другой. Протанцевал брат; я решился вести танец; опять взял ее же. И я через платок. Она танцевала хорошо. Потом села; стали отдыхать и другие девушки. Я (не ей, потому что вижу, что она очень горда), а другим девушкам говорю:

— Устали?

— Устали немного, — они отвечают. — Впрочем теперь не лето; воздух прохладен.

Я говорю:

— У нас в горах еще холоднее.

Тогда одна из девушек спрашивает меня:

— Удивляюсь, как это вы терпите там зиму при снеге?

— Терпим! — говорю я. — Очаги зажигаем; а у вас здесь внизу, конечно, очагов не нужно.

Другая еще девушка тогда говорит:

— У нас здесь внизу все хорошо; а у вас там дикое место!

Я говорю:

— Что делать! Терпение нужно! Бог нам помогает! Никифорова девушка все молчит. Потом вдруг сама:

— От наших танцев что за усталость; мы здесь тихо танцуем. От европейских танцев в Сире я уставала больше: от вальса голова кружится, а польку очень скоро иные танцуют.

Одна чорненькая ей на это:

— Ах! наши критские молодые люди такие варвары. Они таких танцев не знают совсем. Еврей Жозеф очень хорошо танцует а la франка, и польку, и вальс. Он в городе у ав-

стрийского консула писцом служит.

А маленькая Акостандудаки ей с пренебрежением ужасным:

— А! что ты говоришь, Мариго! Что ты нашла! Этот жид!..

И точно этот Жозеф был вещь ничтожная вовсе. Потом вдруг Афродита ко мне обернулась и спрашивает:

— Отчего вы с братом не протанцуете ваш пиррий-ский танец, что с позвонками на ногах? Кто видел только, его все хвалят. Это очень древний и красивый танец. Я бы желала видеть.

Я на это ей, смеясь, говорю:

— Надо к нам пожаловать... Туда, наверх. Милости просим к нам в Сфакию; там будут у нас и позвонки эти, о которых вы говорите, и мы можем для вашей чести с удовольствием протанцовать все, что вы пожелаете.

Она говорит:

— Как я туда поеду! — И больше ничего не сказала. Доктор тогда подошел к ней и говорит:

— Дитя мое! отчего ты все такая суровая? Глазки у тебя небесного цвета и волосики зо-

лотистые, приятные такие, и сама ты беленькая и молодая, а глядишь на людей все сердито... Прошу тебя, улыбнись!..

Афродита улыбнулась ему. Доктор был у них в доме давно как родной и с ней обращался как отец.

— Вот, — говорит он, — как я рад, что ты засмеялась! Меня твоя суровость с молодыми людьми огорчает.

Докторша и бабушка Афродиты за нее вступаются. — Девушка должна стыдиться и быть скромною. А доктор:

— Пусть будет скромна! Но в благословенном Крите нашем не так, как в иных областях турецких заведено, чтобы девицы с молодыми людьми боялись говорить... Мы здесь люди иные... У нас Венеция тут была прежде... Прошу тебя, Афродита, встань для меня, который тебя еще маленькою столько раз носил и баюкал, утешь меня, встань и протанцуй еще раз с любым из этих красивых ребят...

Она сказала:

— Извольте, с удовольствием! — встала и ко мне обратилась. — Господин Яни, пойдете с вами! — Подает руку уж прямо, без пла-



точка, и глядит, и глядит на меня, тихо, молча все глядит... И танцевала она тоже, то опустит глаза, то взглянет немного опять на мои глаза. Это все пустяки, это ничего не значило. Так она всегда смотрит. А я тогда возгордился в уме и, танцуя, думал: «Значит из всех молодцов я ей понравился. Я сжег ей сердце... Как это приятно! Как мне это нравится, что она предпочитает меня другим!»

А все было оттого, что я к ней ближе других стоял в это время. Но я был глуп тогда и с той минуты, как подержал ее за руку в танцах, полюбил ее и стал об ней думать.

К вечеру капитан и мы все уехали в город, и больше ничего в этот день в доме Никифора у нас не случилось.

Потом мы все вместе, капитан наш, и доктор Вафиди с женой, и сам Никифор сели на мулов и поехали в город. Никифору нужно было по делу ночевать в городе.

Много дорогой шутили и веселились. Никифор с доктором опять о турках спорили. Доктор всем восхищался. — «И воздух хорош, и цветочки хороши!» В это время весной, у нас в Крите, точно так же, как здесь на вашем

острове, Аргиро, по горкам и по холмикам цветет множество этих самых розовых цветов на низеньких кусточках, которые теперь ты видишь... Вот смотри прямо. Вся горка от них как будто красная стала. И на них доктор Вафиди радовался. Он говорил: «Вот, кир-Никифоре, как приятно в таком сладком климате жить! И такие цветы по горкам видеть!» А супруга его смеется: «На что тебе цветы, врач мой? Когда бы ты был молодой, то девицам подносить хорошо. А ты уж не так молод!» — «Радуюсь!» — отвечает доктор. А Никифор ему: «Радуйся! Радуйся! А ты забыл, как в 58 году при Вели-паше нас хотели ночью турки в Канее всех перебить? Как они труп того мальчишки-христианина за ноги по мостовой волочили? Как в Сирии они поступали? Не ты ли сам тогда, в 58 году, ко мне пришел бледный, как тебя ноги едва держали, как зубами ты тогда стучал?.. Трех лет тому еще не прошло, а ты забыл это». Доктор отвечает ему: «Оставь эти печальные вещи! Что тут до турок за дело, когда я говорю о цветочках и о сладости климата на родине нашей! Освободитесь, я буду рад; и я эллин; — но я говорю,

что и теперь нам жить приятно; а в 58 году наши же бунтовали и 10 000 народу из гор собрали... все Вели-паша да английский консул, его друг, виноваты одни. Английский консул двери свои христианам запер, когда они бежали спастись, а другие консулы открыли». Так они всегда спорили, хотя и были очень дружны. Нам, молодым, было очень полезно и занимательно знать мысли старших людей, и мы молча их слушали. И капитан Ампелас больше молчал и тоже слушал их. Пред самым городом, с этой стороны, в маленьких хижинках живут у нас прокаженные. Их сюда отделяют, когда на них нападает эта зараза, и они, несчастные, живут тут все вместе. Все они в ранах и болячках каких-то ужасных, и лица у них испорчены и гниют, так что смотреть очень противно и жалко. Я и не разглядывал их хорошо. Боялся глядеть. Проезжие им деньги бросают, и мы все им бросили. И капитан, и доктор, и Никифор. Докторша потом говорит мужу: «Врач мой добрый, зачем это такое дурное распоряжение начальства, что эти несчастные люди свое безобразие на дороге всем проезжим показывают? Я видеть

этого не могу; их бы в другое место убрать». Вафиди говорит: «Да, это неприятно; только не мне, потому что я привык; конечно, не все доктора!» А Никифор и тут несогласен; упрямый был человек! — «Нет, говорит, это хорошо! Надо нам, богатым и счастливым людям, показывать эти язвы прокаженных. Чтобы и мы помнили, как Бог карает людей за грех!» А капитан Ампелас говорит ему: «Почем ты знаешь, кир-Никифоре, что у них больше твоего грехов? Душа у несчастных этих еще лучше нашей... Стой, я еще дам им денег! Ну-ка и ты дай, кир-Никифоре, еще»... Никифор ему: «Отчего не дать; что эти пустяки значат»... И оба довольно много бросили... И всем было это очень приятно видеть, что они по-христиански поступили оба: и капитан наш, и Никифор. Миновали мы прокаженных и подъехали к самой Канее. Чтоб от Галаты въехать в ворота крепостные, надо ехать сначала по широкой дороге около глубокого рва, и за рвом этим превысокая стена старой крепости. Слышим, играет военная музыка. Стоят турецкие музыканты на стене и так хорошо и громко играют! Прекрасно! Громко, сильно,

хорошо! Что-то военное! Никифор сейчас опять затрогивает Вафиди, смеется: «Э! врач мой! Смотри-ка, твои друзья честь нам делают! С музыкой нас встречают. Аида, — сфакиоты мои, прицелиться бы вам в них хорошо теперь отсюда и посмотреть, как бы они вниз со стены падали... Я думаю, феска бы прежде свалилась, а потом уже сам».

Капитан за нас отвечает:

— Час еще их не пришел, кир-Никифоре! Я тебе, милый мой, скажу вот что: ездил я не так давно в Вену по делам моим и видел там молодого черногорца: было ему всего, кажется, двадцать, не больше, лет; он ехал в Россию и имел рекомендательное письмо от своего черногорского начальства, где было так сказано: «Он отрубил уже пять турецких голов!» Вот, друзья мои, так бы и я желал рекомендацию когда-нибудь дать молодым сфакиотам! Зачем черногорцам лучше нас быть?

Мы говорим:

— Благодарим вас! и мы очень желаем этого.

Музыка все играет; мы все едем вдоль рва и стены шагом и веселимся. Пред тем, как на-

лево к воротам крепостным поворачивать, на правую руку есть тут очень красивое турецкое кладбище. Много белых мраморных памятников и кипарисы стоят огромные, темные-темные и очень толстые. Трава была тогда между могилами очень жирная, густая, высокая и зеленая. И много красного маку и других цветов на этом кладбище цвело... Никифору захотелось опять пошутить над доктором; но тут уж доктор рассердился: видно, наскучили ему эти шутки и разговоры о турках. Ни-кифор нам тихо сделал знак глазом и головой и спрашивает:

— Отчего, доктор, как ты думаешь, трава на этом турецком кладбище такая густая и жирная?

Доктор сначала еще не рассердился и отвечает, улыбаясь:

— Люди хорошие: торговали[9] в городе честно, жили покойно, с хорошею совестью. Жиру на них поэтому было много, и трава у них на могилах густа.

На это Никифор ему отвечает с досадой:

— Этот красный мак, что такое? Это кровь христианская выступает, которую они столь-

ко времени пьют!

Тут Вафиди рассердился и закричал:

— Что ты, Никифоре, сегодня все кровь и кровь... Это неприятно! Разве я не грек, не патриот? я, может быть, лучше тебя! Ты воевать не пойдешь сам с турками, не беспокойся! Я люблю свою родину и свой народ; но ненавижу тех, которые пустословят из тщеславия и вредят этим народу, возбуждая его некстати... Ты все о крови сегодня говоришь, потому что у тебя у самого кровь волнуется от вина... Много вина выпил ты, вот что!

Никифор еще больше его оскорбился и говорит:

— Я свое вино пил, а не чужое. А доктор:

— Это глупо.

И начали ссориться. Капитан Ампелас и докторша мирят их... И так мы подъехали прямо к воротам крепостным. Поворотили... Вижу, вдруг остановились и капитан, и Никифор, и Вафиди. Все с мулов и лошадей соскакивают на землю... Никифор даже побледнел. Все они глядят куда-то в середку, остановились и кланяются. Сошли и мы; и вижу я, стоят аскеры под воротами. Еще какие-то люди,

не шевелятся. И тот начальник, который при воротах начальствует, стоит. А сидит, свесив ноги вниз на его окошечке, на подушке, один человек из себя не молодой, красноватый, усы у него подстриженные, рыжие, и читает какую-то бумагу... В одежде простой, черной. Это был сам Халиль-паша. Он проверял сам какие-то дела у того чиновника, что к крепостным воротам приставлен был. Тут я его в первый раз увидел. Он опустил бумагу, доктору особо поклонился и оглядел нас всех и не благосклонно, и не гневно, а просто так посмотрел, и спросил Никифора:

— Вы откуда это все вместе?

Никифор точно как будто смущен, торопится:

— Это они у меня по делам в Галате были...

Потом паша как будто посуровее и очень внимательно посмотрел на нас с братом и спросил у капитана Ампеласа построже, чем у Никифора:

— Это кто такие? Капитан ему почтительно:

— Это, паша господин мой, братья Полудакки, Христо и Яни, наши сфакиоты. Дети моего



друга, который уже умер.

Тогда паша обратился к офицеру, который около него стоял, и сказал ему:

— А зачем же на них оружие, когда это запрещено? И вы сами разве это не знаете? Тебя, старик Коста, я запру надолго в тюрьму за это в другой раз. Снимите все ваше оружие и отдайте аскеру.

Что делать! Вынул капитан пистолет и нож из-за пояса; вынули и мы и отдали аскеру. Э! Свобода! Свобода! Где ты? Пропала вся наша гордость и вся наша краса! Отдали оружие аскеру, и тогда паша махнул нам всем рукой: «Идите». И мы со смирением и с почтением все прошли мимо него пешие под ворота в город.

Оружие это мы никогда уже и не получили назад. Так мы должны были все купить новое пред возвращением в горы. Так неприятно этот вечер наш кончился! Никифор после говорил доктору, как слышали, так:

— Очень я теперь боюсь, что паша недоволен мною. С этими сфакиотами вместе... Ножеизвлекатели, клефты! Очень боюсь я теперь, чтобы все дела мои не испортились по-

сле этого!.. Какой анафемский час вышел мне!

И долго еще он все убивался об этом, что паша будет что-нибудь о нем в политике нехорошее думать.

## V

После этого капитан Ампелас с остальными паликара-ми возвратился домой, а нам с братом поручил кончить в Канее и в ближних селах некоторые торговые дела. Нам это было выгодно, и мы получали с братом при этом хорошие деньги. Мы думали сначала, не пригласит ли нас к себе в дом Никифор Аكوстандудаки, но он ничего нам об этом не сказал, и мы жили у другого человека по соседству недели две, может быть. Брат меня посылал чаще в город, а сам чаще оставался в Галате. Я тогда ничего не замечал, и даже на ум мне не приходило, чтобы можно было мне ли самому или брату жениться на Афродите. Был в городе Канее один богатый итальянец, синьор Прециозо, и у него были две дочери. Одну звали Розина, и она была уже не молода и замужем, а другую звали Цецилия. Этой Цецилии было, кажется, не больше шестнадца-

ти лет. Она была из себя полная и веселая, только не очень красивая. У синьора Прециозо был в Галате прекрасный дом большой, и он был человек простой и старинный. Он сам уже давно жил в Крите и с нами свыкся. Его любили у нас и осуждали только за одно, за то, что он хотел помогать католической пропаганде. Лет шесть-семь назад (я думаю столько будет) приехал очень искусный *франкопапас*[10] и вместе с французским консулом стал обращать наших людей в папистанов. Франкопапас уверял людей наших, что если только перейдут под папу и сделаются католиками, то они будут сейчас все французскими подданными и что император Наполеон будет защищать их все равно, как подданных настоящих. Люди толпами стали идти во французскую церковь, и франкопапас всех их записывал в тетрадку по именам. Он старался всячески угождать христианам и ласкал их. И если что случится, то сейчас и он, и купцы-католики, и французский консул, и австрийский (старичок был злой такой и скучный; он теперь помер), все франки за этих людей. Таких людей зовут унитами. «Вы *будете* всегда

греками, не бойтесь, говорят, а только и будет, что папа... Что вы боитесь, ведь и мы во Христа Распятого верим, и первым епископом Римским был сам апостол Петр, которому Христос дал ключи от Царства Небесного»... За некоторых подати заплатили туркам. Турки, кажется, недовольны были, но что же они против Наполеона могли сделать? Хорошо! Пстой, пстой... Немного времени прошло, всего дня три-четыре, кажется. Увидал меня в лавке своей синьор Прециозо и узнал, что мы с братом поселились для дел наших по соседству Никифора. А у Прециозо дом был тоже близко. Старичок и так и этак пред нами: «Дети мои! Дети мои! Отчего вы никогда ко мне не ходите? Я вашего отца знал... Милости просим ко мне в Галате в гости...» А сам думает и нас с братом обратить во франкскую веру. Мы говорили: «Что за добрый, что за гостеприимный человек!..» И стали ходить к нему. Дочери с нами свободно разговаривали, особенно младшая. Она была очень свободна; еще когда маленькая совсем была, то всегда с греческими нашими детьми по улицам бегала и играла, и не спросясь у отца все делала. И все-

гда веселая, всегда смеется или поет, или кричит, или разговаривает. И простота у нее такая, что это удивительная вещь. Другие девушки купеческие гордятся, а она: «Синьор Яни! Синьор Христо! Хочешь варенья? Хочешь кофею? Я тебе принесу». Бежит, несет, угощает, как простая служанка нам служит.

И все поет: amore!.. (Ты, Аргиро, знаешь это итальянское слово: amore, это значит — эрос). Вот она все это слово пела; у нее все amore на уме была. С Афродитой они были дружны. Только Цецилия была проще; а наша разумнее была и тише ее. Афродита к ней часто ходила, и они вместе работали что-нибудь у окна или на террасе, или в тени, под виноградным навесом. Однажды мы с братом вернулись из города, сидим на стенке в саду и курим, не видим, что девушки подошли к окну и на нас глядят. Цецилия кинула в нас апельсин. Мы взглянули. Афродита: «Ах, что ты делаешь, сумасшедшая». И спряталась. А Цецилия: «Великое дело». Я взял апельсин и мечу в нее. Она кричит: «Стекло, Янаки, разобьешь. Отец бранить будет». А брат мой: «Не бойся, синьорина, не бойся! Брат мой, Яни,

сфакийский стрелок. У него глаз верный. В тебя попадет, а не в стекло». Я бросил и точно попал в нее.

Она в нас двумя бросила. Мы опять в нее. Афродита думала, думала и тоже бросила апельсин; Христо поднял его и говорит: «Этот я не отдам, а съем его!» И начал есть, и говорит: «Боже! Что за вкус». Афродита покраснела и ушла домой вскоре после этого. Цецилия удерживала ее, однако она ушла. Тогда Цецилия возвратилась и говорит нам прямо: «Смотрите! какая гордая! А сама вчера мне хвалила вас. Я вас хвалила прежде, а она начала тоже хвалить вас после. Я говорю: вот они оба какие хорошие, какие красивые, какие белые, какие у них руки и ноги красивые! Я говорю еще: какая приятная вещь, если таких любишь!» А она мне говорит: «Когда б они здешние были и купеческие дети». Я ей говорю: разве тогда бы другие были, приятнее были бы? Все равно! Мне они оба нравятся. А она говорит: «Я боюсь!» Тогда брат сказал Цецилии: «Синьора Цецилия! Вы напрасно не сказали Афродите так: пусть у братьев Полудаки денег будет много, и они будут купцы».

Цецилия говорит: «Хорошо, я ей скажу это».

Брат сочинил тогда для Афродиты и Цецилии такое маленькое письмецо:

«Мы, сфакийские молодцы и ребята из Белых Гор, Христо и Яни, братья Полудаки — это пишем. Мы очень огорчены! Есть по соседству в саду хорошем померанчик с померанцо-вого дерева и яблочко из Италии, и мы желали бы на них полюбоваться и веселиться ими. Однако боимся, чтобы не было им от наших мыслей этих неприятностей. Если у нас есть судьба и счастье, у Христо и у Янаки, его младшего брата, то это будет. А если не будет, то мы очень огорчимся.

Христо и Яни, братья Полудаки из Сфакии, или Белых Гор».

Цецилия прочла и смеется:

— Если ты католиком бы сделался, я бы с тобой убежала.

А хитрый брат:

— Если бы ты сделалась православной, я бы тоже тебя любил. А теперь коли ты меня любишь и нам с тобой синьора, венчаться нельзя, то хоть бы ты изволила снизойти и

помочь мне, чтоб Афродита кого-нибудь из нас полюбила, либо брата, либо меня.

Цецилия говорит:

— Хорошо! Я с удовольствием постараюсь. — И стала стараться.

Сама учит брата: «Христо, цветочков ей поднеси». Брат нарвал жасмина побольше, на тонкую палочку цветов к цветку снизал и пошел к Акостандудаки в дом и отдал Афродите, но что они говорили между собою, не знаю.

Только на другой день такое было нам веселье! С утра зовет нас Цецилия и говорит:

— Сегодня после обеда отец у сестрицы в городе останется, а я кухарку ушлю, и вы будете тут; Афродита придет.

## VI

Мы в величайшей радости оба ждали вечера с нетерпением. Сердца наши горели. Только я больше стыдился, и пока в городе были, брату не говорю ничего, а все смотрю на него, то на часы, когда домой...

А Христо на меня взглядывает и улыбается. Потом говорит тихо, при людях: «Яни! не пора ли нам к итальянке возвратиться».



Я отвечаю и сам краснею:

— Ты знаешь... Он говорит:

— Поедем!

Я обрадовался, и мы мигом доехали до Галаты, и точно что провели время очень приятно. — Только ты, Аргиро, опять будешь гневаться.

Аргиро. — Не буду, не буду, душенька, рассказывай. Как я такие вещи люблю слушать! как книжка!

Яни. — У синьора Прециозо в саду была длинная дорога прекрасная; по сторонам ее были каменные столбы; и на столбах все перекладины и вился виноград, так что над всем этим местом была прекрасная тень от винограда. По этой дороге гуляли Цецилия с Афродитой, ждали нас из города. И служанку они услали вовремя, так что мы нашли их одних.

Афродита показывала некоторую суровость и не улыбалась даже ничуть. Мы их приветствовали с добрым вечером, они пожелали нам того же, и тогда только увидали мы, что Афродита держит в руке маленькую бумажку. Вижу я, брат краснеет и спрашивает

ее:

— Как вы, деспосини моя, провели время?

Она тоже краснеет и говорит серьезно: «Благодарю вас, очень хорошо!» А Цецилия: «Записочка ваша, синьор Христо, нам очень понравилась. Вот Афродита держит эту бумажку; мы вам после ее покажем». А брат говорит: «Я очень рад, что вам моя записочка понравилась. Простите нашей простоте; как знаем, так и пишем».

Афродита ничего, только поднимает на брата вот так глаза кверху и спрашивает: «Вы, Христо (не говорит ему ни господин, ни синьор, а просто — Христо), вы, Христо, разве читать и писать умеете?»

Брат улыбнулся и говорит:

— Немного умею.

— Вы, значит, сами эту записочку написали? Брат смеется:

— Конечно, сам.

— Вы где учились? — она еще спрашивает.

Брат сказал ей, что мы с ним оба сперва учились в селе нашем у священника, а потом у афинского учителя.

Девушки удивились и спрашивают: «Разве

вы были в Афинах? Удивительное дело!» Тогда мы рассказали им, что года еще три тому назад выписали сфакиоты наши одного хорошего учителя из свободной Греции. Но паша никак его из города в горы выпустить не хотел, и эллинский консул сам напрасно об этом старался. Турки говорили, что из Афин учителя, или из России все бунтовщики бывают и все учат по селам: «Народность! Народность!» И не пускал. Тогда трое наших молодцов приехали сами вниз; переодели учителя: сняли с него европейское платье, надели на него критское; верхом ночью с ним ускакали в горы. А оттуда уж туркам где его достать!

— Вот он нас очень хорошо учил. Мы уж большие к нему ходили.

— Любите учиться? — спрашивает Афродита у меня. Я говорю ей:

— Какой же человек это будет, который не будет желать иметь открытые глаза и не будет иметь охоты узнать все Божие вещи на этом свете.

Афродита замолчала и вдруг говорит:

— Я думаю, мне пора домой.

Тогда толстененькая эта Цецилия закричала на нее, всплеснув ручками: «Несчастливая ты! Перестань ты ломаться. Не верьте вы ей!» — и вдруг вырвала у нее из рук бумажку и отдала нам: «Читайте, это мы ответ вам написали». Афродита ей: «Ах, ты какава! Что ты! брѐ такая, брѐ сякая...»

А мы: «Теперь сердись, бумажка у нас...» Смотрим, а на ней написано: «Что ж мы будем делать, чтобы вы были довольны?» И подписано внизу:

«Померанец с померанцового дерева и яблочко из Италии».

Мы рады и говорим:

— Дайте нам карандаш или тростник, или железное перышко написать ответ.

А Цецилия отвечает:

— На песке палочкой пишите... Мы отойдем. И отошли обе далеко. Я говорю брату:

— Что ж мы им напишем? А брат мне говорит:

— Янаки, буду я на твои глазки радоваться, мальчик ты мой милый, возьми ты скорее итальянчку, а мне с

Афродитой поговорить нужно. Не ревнуй,

дителя мое, и та недурна. А у меня есть дело, от которого и тебе будет большой выигрыш. Ты с Цецилией будь посмелее; поцелуй ее и понравься ей, она нам помощницей хорошою будет... Слушайся меня, глупенький... Я говорю:

— Хорошо, хорошо! Жду; что писать?

Брат взял палочку и написал на песке крупно: «Будем приятно проводить часы». Я запрыгал даже от радости. Бежит Цецилия назад, смотрит, и Афродита за ней тихонько идет и улыбается, а Цецилия прыгает и громко смеется, и в ладоши бьет, и поет уже свою итальянскую песню: «Amore! Amore!» и потом пишет на песке по-гречески: *Пос?* (Как?) Брат отвечает:

— Как вы прикажете.

Тогда Афродита поглядела на него и сказала очень важно:

— Так, как следует честным и благородным палика-рам, чтобы девицы не оскорблялись.

Брат говорит:

— Конечно, конечно! А Цецилия зовет меня:

— Пойдем, Янаки, со мной, я хочу, чтобы ты для меня одно удовольствие сделал.

Взяла меня под руку и увела к дому, а брат с Афродитой на дороге под виноградом остались.

## VII

Когда мы с Цецилией остались одни около дома, **она** обняла меня и сказала мне:

— Сядем здесь.

Мы сели. И я обнял ее тоже; но ум мой был все там, где остался брат с Афродитой. Сказать и то, что Цецилия мне меньше нравилась, чем Афродита; она чернее была, и головка и мордочка у нее были как будто слишком велики; а глаза малы и рост не велик и, кто знает, что еще, только она мне не очень нравилась. Потом она мне не могла быть невестой по вере своей; а во грех какой-нибудь я впасть не хотел и боялся, потому что отец ее был человек в городе сильный. А с тех пор, как брат мне сказал: «вот бы, если бы за кого-нибудь из нас двоих Афродита замуж вышла, была бы жизнь хорошая нам всем...», я стал думать, что это возможно и очень прият-

но стать мужем Афродиты, и беспокоился, о чем брат с нею там говорит и что они делают одни. А Цецилия уж очень глупа и проста. Все мне сказала про себя:

— Вот, — говорит, — ты, Янаки, меня не бойся. И ничего не бойся и не стыдись. Я тебе скажу, что я хоть и очень еще молода, а я уж любила одного совсем.

Я говорю ей:

— Я ничего не боюсь!..

И даже поцеловал ее, только без охоты; сам все на виноград, *туда*, смотрю. Цецилия болтает мне свое.

— Да, — говорит; — жил у нас тут мальчик в услужении, Николаки. Отец мой прибил его палкой и прогнал. Он был моих лет; я его любила; только и он сначала ужасно боялся; а я умирала от любви к нему. Красив он был, красив, красив, я сказать тебе не могу. Носил он бархатную черную феску с кисточкой, а лицо у него было чистое, как у Афродиты, а волосы черные, и щечки у него были как розы, и глаза большие, как черешни темные... и два пятнышка черных, маленьких, крошечных на одной щеке были! Пришел он к нам служить

из деревни и очень все печален. Прислонится спиной к стенке и поет, и поет, наверх смотрит... Я не могла его видеть; взяла бы его за горло и удавила бы. Прихожу раз к нему и говорю: «Николаки, когда ты так петть будешь, я тебя удавлю». А он: «Хорошо, я не буду петть». Я рассердилась и укусила ему руку. А он заплакал. Много я с ним мучилась. Он все боится. Потом привык. Вот сестрица Розина застала нас, когда один раз мы с ним сидели обнявшись и он рассказывал мне, что он свою мать очень жалеет; а я слушаю, слушаю и умираю от любви к нему... Сестра нашему папаки сказала; а папаки мне дал две-три пощечины и хотел меня в Италию отослать к родным, чтобы меня там в монастырь отдали на исправление; а его палкой бил и палку сломал; и еще наложил камней в мешочек и хотел этим мешочком его бить; только Николаки стал на колени и говорит ему: «Синьор, не я виноват, а синьора Цецилия. Она все меня трогала. Простите мне». Отец начал сам плакать и отпустил его; сказал только: «Не хвастайся никому». Николаки отвечает: «Я не буду. Я сам стыжусь этого греха». Так никто этого не зна-



ет; а тебе, Янаки мой, я это говорю, чтобы ты ничего не боялся и не стыдился, потому что я хоть и молода, а все знаю...

Я ее обидеть не хотел и помнил, что брат мой сказал, чтоб я приласкал ее немного и что она помощницей нам хорошей будет; поэтому я ее поцеловал еще раза два и потом говорю: «Жизнь моя, прошу я тебя, если ты меня так любишь, пойдём тихонько послушаем, что брат с Афродитой говорят одни». Она с радостью согласилась, и мы пошли тихонько за виноградом у стенки. Только такая беда, сучки и сухие листья под ногами трещат, и мы очень долго к ним крались.

Наконец я стал на четвереньки, подполз и гляжу. Они сидят рядом очень серьезно; Афродита зонтиком по песку чертит и вниз смотрит; а брат курит и тоже вниз смотрит. И оба молчат. Потом Афродита говорит: «Это невозможно». Брат мой говорит: «Отчего?» Она отвечает: «Разве я могу жить в горах? Я там от скуки умру». Христо ей на это отвечает: «Я могу внизу поселиться и торговать». А она ему: «Ба! разве мой отец на это когда-нибудь согласится; да и я не желаю. Это все одни

шутки, которые все эта глупая Цецилия начала. Теперь я каюсь, что я с такою глупою де-вушкой связалась!»

Цецилия как вспрыгнет, как выскочит на дорожку, как закричит:

— Вот ты какая! вот ты какая! А сама хвалила их. Сама говорила мне: «Как я, Цецилия, скучаю!» А когда я

сказала тебе: «давай с молодыми сфакиотами веселиться», ты сказала: «Давай! Они мне нравятся! Только я боюсь (ты, Афродита, это говорила), что от них очень луком пахнет». А я тебе тогда сказала: «Отчего? Теперь у них нет поста. Может быть, не пахнет. А теперь я виновата? Я глупая?»

Афродита застыдилась, ничего не отвечала, встала и пошла к воротам и ушла одна домой. Цецилия погналась за ней мириться. А брат говорит мне: «Наше дело, Янаки, не хорошо идет!» Я спрашиваю: «Ты сам сватался?» А он мне: «Не совсем. Я спросил только, может ли она за горца из хорошего дома, из капитанского рода, выйти замуж; а она говорит: «Нет, не могу!»

Я подумал, что он немного лжет, но ничего

не показываю и отвечаю: «Значит, конечно дело. Нельзя». А Христо не отчаивается: «Для нас нельзя, а для Бога все возможно. Есть Бог, Янаки, есть Бог... Выйдет судьба — тогда все возможно».

## VIII

После этого мы раза три были у Никифора в доме, но Афродита была с нами очень сурова и тотчас уходила, как только увидит нас. А Никифор сам был с нами гостеприимен и любезен и шутил, что мы католиками скоро будем. «Посмотрите, вас скоро Прециозо франками сделает; не ходите к нему часто». И запел: «*Dominus vobiscum!*».

Когда мы с братом к нему заходили, он угощал нас всегда хорошим вином и сыром, и фруктами и много разговаривал с нами. Бывал также часто у него в гостях доктор Вафиди. И он с нами хорошо обращался. Нам с братом очень нравился патриотизм Никифора. Он все думал о восстании и о свободе; доктор Вафиди, хоть и добрый человек, иной раз с ним не соглашался. Он говорил иногда: «Не знаю, господин Никифор, не будет ли хуже с

этой свободой! Податей будет больше; порядку еще меньше. Теперь, когда паша умный, чем нам здесь худо жить? В газетах афинских пишут про Крит: «Эта несчастная страна!..» А я скажу, страна счастливая! Много вы боитесь турок!.. Народ лихой, смелый — все... Турки вас боятся... Посмотри в других местах как нуждается народ, как бьется, как работает... А у нас, слава Богу, все есть... Посмотрите, как хорошо у нас, как весело в селах... У вас, в Галате, в Халеппе, в Скаларие, в Анерокуру, в Серсепилии... Это рай... Домики белые, чистые, садики зеленые, виноград, овечки ходят, народ в новых цветных одеждах красуется... Не забудь (это все доктор говорит), что и собственность вся, вся земля поселян у нас в Крите в руки христиан переходит... Турки все продают, все сбывают, а христиане все покупают понемножку, все покупают... А тебе-то, господин Ники-фор, что? Тебя турки уважают, советуются с тобой... с твоими деньгами ты и несправедливости не боишься...» А Никифор ему вздыхает: «Друг мой!.. Что делать, чувство у меня есть в сердце! Да! (говорит он еще), что мне, например, эти сфакиотские ре-

бята? Они мне не родные, не близкие, ничего! Но когда я вспомню, как в 21-м году восемьсот сфакиотов пред глазами 20 000 турок знамя с изображением Креста водрузили героически, так я для них все готов сделать. Гляжу на них и думаю: разбойничий вы мои! разбойнички... Живите и здравствуйте... Да! чувство, друг мой, чувство есть!..» И пальцем в грудь себе бьет и феску уж свою высокую и на затылок собьет, и на брови надвинет, и кулаком по столу стучит, так энтузиазм его силен. А еще раз он сказал: «Крит, что это такое? Это отчество Миноса! вот что! Тут одно племя со спартанцами жило. А спартанские матери что говорили, показывая на щит, когда дети их шли на войну: *«И тан и эпи тас!..»* (или с ним или на нем). И спросил у нас, говорил ли нам об этом афинский учитель. Мы сказали: говорил, и мы это знаем. А Никифор: «Умный человек ваш афинский учитель. Он заслужил от отчизны!..» Доктор опять ему: «Нет, здесь народ хороший живет. Вот в Босне, в Болгарии народ притеснен — это правда. Я везде, друг мой, ездил, верь мне! В Босне беи очень сильны, в Болгарии бьют сельский народ пал-

ками без страха; а здесь? Попробуй!» Это все доктор, а Никифор: «Не о хлебе едином жив будет человек! Чувство, брат, чувство необходимо! А ты, доктор мой, человек хороший, я знаю, но беи и чиновники турецкие тебе за лечение больше нашего платят. А Халиль-паша при всех в Порте сказал тебе: «Вы товарищ мне; я доктор и вы также». Ты и полюбил турок сильно за это! А вы, други, его не слушайте... А если станет здесь народ еще богаче, тем лучше — больше денег будет на оружие и на порох... Не так ли?» А мы ему: «Так! Господин Никифор... Так! Мы согласны...» Зовет дочь: «Афродита, подай Христо и Янаки кофею!» Она подает, только так глядит угрюмо и сердито на нас, что мне стыдно, а брат все не унывает и даже говорит с нею, как будто у них на этой дороге под виноградом в саду Прециозо ничего не было! Так мы тогда жили — с отцом дружно, а с дочерью не хорошо.

Я говорю брату однажды:

— Что ж это, Христо, Никифор нас все хвалит, а дочь отвращается от нас. Я же тебе скажу, что она мне и лицом и всем очень нравится. Не попросить ли ее у отца? Может, и

доктор поможет... Скажем доктору.

А брат говорит:

— Глупые ты вещи говоришь, Янаки! Ты веришь Никифору, что он нас так любит! Иди проси, когда хочешь, а я срамиться не стану. — Другое дело война, или восстание, чтобы мы резались с турками... А другое дело — дочь дать нам с тобою... Он купец богатый... Не верь ты ему, когда он говорит: «Я все для них сделаю».

Я опечалился и говорю:

— Значит нет для нас Афродиты? А брат с досадой:

— Хорошо! Сказал я тебе: что нам невозможно, то Богу возможно. Только ты мне верь и слушайся меня во всем, что я тебе скажу.

Я говорю:

— Пусть будет так! — и опять успокоился.

## IX

— В это самое время случилось нам с братом Христо, прежде чем к себе в Сфакию вернуться, сделать одно удивительное дело... Все в городе и кругом в селах, и потом наверху у нас в горах хвалили нас и превозносили за

это дело... И правда, что очень забавная была эта вещь. Я тебе расскажу все по порядку. Когда этот франкопапас (его фамилия была мсьё Аламбер) взял много силы в нашем месте, стал народ городской в Канее и из окрестных сел толпами ходить к нему во франкскую церковь и записываться у него в список, чтоб иметь защиту французского консульства. Люди разумные и хорошие из наших не знали, что и делать, чтобы помешать анафемской пропаганде. Доктор Вафиди давно уже сокрушался и почти плакал об этом. Он приходил в лавку к Никифору и говорил ему:

— Кир-Никифоре! Совсем *зафранкствовал* народ! Что нам делать?. Никифор говорит: «Ты не очень пугайся, они это все хитрят, чтобы в торговых и тяжёбных делах иметь облегчение. Это все твои возлюбленные турки тому причиной. Эти турки, с которых ты столько денег за дешёвые пилюли берешь. Правительство слабое, расстроенное, консулов боится... Консула распоряжаются здесь, как хотят; если бы католические консула не были сильны, пошел бы разве к ним народ?» — «Друг мой! — говорит Вафиди с великою горе-



стью, — друг мой хороший!.. Паша сам очень недоволен; он и мне поручал не раз распространять в народе, что паспортов настоящих французских выдавать все-таки им не будут и чтобы не думали, будто они от турецкого начальства будут свободны после этого. Я, говорит, говорю каждый день; но народ у нас хитрейший, не верит, и все знает, что ему нужно; знают они, что Франция имеет право в Турции католиков и уни-тов как своих подданных защищать, и не слушают меня. Впрочем, я с полгода тому назад начал одно дело для спасения народа, но не знаю еще, будет ли плод от моих трудов»... Тогда он не открывал, какое это дело. Но позднее узнали мы, что он на остров Сиру, где русский консул был, писал, что здесь также необходимо русский флаг поднять и тогда пропаганда эта кончится. Послушались его, и в тот самый год, как капитан Коста стал ездить с нами часто в Канею, незадолго до этого приезда нашего, приехал в Крит русский консул, и дело католиков начало портиться. Паша подружился с русским консулом, стали они вместе стараться, и паша скоро потребовал от французского кон-

сула и от мсьё Аламбера, чтоб они объявили на бумаге, что те критяне, которые унитами станут, французскими подданными от этого не сделаются, а все будут турецкими райями, как прежде. Французы эти — посмотри какое лукавство! — увидев, что отказать паше в таком законном деле нельзя, написали объявление и повесили его во франкской церкви не на виду, а за дверями, в темном углу. Входят люди в церковь, дверь отворена, и объявления не видит никто. Однако Вафиди и Никифор постарались объяснить это людям; люди отыскали за дверью объявление и стали читать. «Не будет настоящей защиты от Наполеона в делах! На что ж ходить к франкопапасу, только грех!» И перестали ходить и каялись у епископа, кланялись ему. Зовет тогда нас с братом Христо однажды доктор Вафиди и говорит: «Паликары мои, что делать! У мсьё Аламбера остался список в тетрадке всех людей, которые записались унитами. Им теперь это неприятно и невыгодно... Не придумаете ли вы, молодцы умные, как бы эту тетрадку украсть у него». Брат смотрит на меня и смеется: «Яни может», — говорит он... Я не пони-

маю, что он говорит... Потом, когда мы от доктора вышли, Христо говорит мне:

— Тебя итальянка маленькая любит, не украдет ли она для тебя... — А я ему на это умнее его придумал и говорю: «На что итальянка, пойдем сами; — притворимся, будто записаться хотим, и украдем... У мсьё Аламбера окно низкое, в нижнем этаже. Так займи его разговором, а я украду. Или я займу разговором, а ты возьми и в окно беги, если в дверь трудно будет...» Брат говорит: «Однако и ты умен, я вижу...» «Зачем же мне быть глупым», — отвечаю я. И мы пошли к мсьё Аламберу. Согласились было на первый раз хоть так высмотреть все и потом уж, что Бог даст. Однако кончили все вдруг очень легко.

Приходим. Мсьё Аламбер принимает нас ласково; по-гречески говорит хорошо, хоть и не чисто, а все знает. Важный из себя, бритое все лицо; полный мужчина, как будто приятный.

«Добрый день вам, дети мои, добро пожаловать». Так все тихо и прятно. «Садитесь». Сели. Отсюда-оттуда начинается разговор. Христо жалобы разные на турок, на бедность

нашей земли в горах... Мсьё Аламбер как узнал, что мы сфакиоты, обрадовался: «А! вы оттуда!.. Хорошо!.. Знаменитые горы ваши... Прекрасно! Прекрасно...» И от радости на кресле стал сидеть непокойно: и так сядет, и так пересядет, бедный... А мы ему уже как своему священнику: *Геронта-му Геронта-му...* [11]. Дело подвигается. Брат говорит, а я смотрю на стол его и на бумаги, и на окошечко, на улицу. Народ ходит... Пускай.

Наконец и о вере заговорили, зашел разговор. Христо говорит: «Клир у нас плох; ни от турок не защищает, ни жить нас не учит хорошо. Мы очень несчастны от этого. Такие помыслы бывают!.. Очень неприятно это»... Мсьё Аламбер за наших попов сейчас вступается. «Не судите строго ваш клир... Бедность, рабство, неученость... простота... Нет, есть у вас очень хорошие, очень прекрасные иереи... Почтенные; только незнание, незнание одно и бедность... Нам ведь легче, говорит, католикам, у нас святой отец, преемник Св. Петра, он ни от кого независим... Он всегда защитит нашу паству поэтому легче может... А не достоинство это наше или пороки греческого

духовенства... Что же, церковь, к которой вы принадлежите, церковь апостольская тоже... Ее надо уважать... И обряды у вас прекрасные... Очень хорошие... *мегалопрета*[12], говорит... Только одного у вас недостает... Надо, чтобы был один пастырь у стада... Больше ничего...»

Брат тогда прямо говорит: «Я давно это думаю, и вот младший брат со мною согласен. Запишите нас в книжку вашу».

Мсьё Аламбер встает, книжку берет и садится за стол. Я смотрю через плечо ему. Вижу, там у него Маноли — одеяльщик; Маврокукули Петр — столяр... Никола — сеис, и все имена, имена и по-гречески и по-франкски записаны. Пока он писал, мы с братом переглянулись, и Христо показывает мне глазами и руками карту большую на стене и на себя показывает; а мне показывает на тетрадку и на окно. Я понял. Как только мсьё Аламбер кончил, Христо говорит ему: «Извините, геронта мой, я хочу у вас спросить, где на этой карте Рим и где Иерусалим написаны...» Поп любезно поспешил с ним к карте и говорит: «Это как сапог — это Италия». А брат: «Я знаю, Ита-

лия как сапог — это наш учитель говорил...»

А я в эту минуту схватил тетрадку и в окно. Слышу только мсьё Аламбер: «Боже мой! Боже!» А тут и брат за мной вслед в окно выпрыгнул.[13] На улице в эту минуту людей было мало: оглянулись и пошли, а мы к доктору. Его нет дома. «Где?» «У Никифора». Мы туда. «Вот тетрадка!» Вот была радость всем, и смех, и похвальба... Люди просто давились от смеха и радости... Никифор опять нас хвалил. А доктор обнял нас, целовал и сказал Никифору: «Вот паликары. Вот греки! Вот эллины! Вот христиане! Таких, таких я хочу!.. Бог видит, кир-Никифоре, что я жалею, зачем мои дочери еще малы для них... Я бы за любого из них отдал дочь и гордился... И что есть денег — все бы отдал!.. Что ты на это скажешь, Никифоре, друже мой?» А Никифор вдруг ему на это очень сурово: «У всякого свой вкус... и свои интересы... Раста дочерей и отдавай их кому хочешь, мне что... А насчет тетрадки это очень хорошо они сделали».

Тут я увидел, что брат мой правду говорит: «Нельзя свататься!» Лицо стало у Никифора ужасно сердитое.-

Франкопапас бедный жаловался на похищение, но мы на другое же утро уехали к себе в горы, и нам за это ничего не сделали. Сам паша, говорят, очень смеялся нашему искусству, и люди все в городе нас хвалили за это. Паша не хотел (и доктор Вафиди так говорил) потворствовать франкам; все старался, чтобы с нами, греками, самому жить получше и заслужить у нас хорошее имя, а потом уже сжать нас крепко. И точно он был управитель хороший; но разве угодит турок когда христианину! Это невозможно... Христианин не может забыть старое зло и нового зла боится.

Ты сама, Аргиро моя, слышала много о старых турецких обидах. Я же тебе скажу только одно теперь для примера. Не помню я когда, только на островах было восстание. Знаешь ли, что тогда делали турки? Они на наших монахов надевали узду и седло ослиное и ездили на них верхом и били их, заставляя бежать, пока те падали и умирали. Об этом есть в книгах. Да!

И турки тоже не верят христианам, даже и тогда, когда христиане поклоняются и служат им. Армян и жидов они больше любят.[14]

Жил в старину, например, один паша, и пришли к нему один раз вместе жид, армянин и грек. Паша принял армянина и жида благородно и посадил их на диване, а грека не посадил. Был при этом один друг паша; когда они все ушли, этот друг спросил его: «Отчего ты, паша, армянина и жида посадил, а грека принял так холодно?» Паша говорит ему: «Армянину нужны только деньги мои, и мне вреда нет от этого, а греку денег моих мало, ему нужно *место мое на диване*, и он от этого ненавистен мне! Он так ненавистен мне, что я иногда желал бы руку себе до плеча отрубить за то, что она на нашем языке называется — Эль и как скажу я: «Эль», так вспоминаю это имя *эллин*, которым греки любят себя называть. А жид? Жид — это веселость и великое утешение человеку (это все паша другу своему объясняет)... Однажды один падишах сказал: „Отчего у меня нет жидовского войска? Я читаю в древних книгах, что жида были великие и страшные воины. Пусть жида богатые в Эдирне[15] полк соберут“. Жида в Эдирне с радостью ополчились, оделись хорошо, собрали тысячу человек с оружием и



подъехали к конаку паши. Паша приказывает им ехать в Стамбул. А жиды: „Мы не можем". „Как? отчего?" „Разбойники, может быть, есть на дороге; нам нужно пять-шесть провожатых турок!" Вот что такое жид. Отчего же мне не посадить его?» Видишь, Аргиро моя, так думают турки. Муж твой, не беспокойся, бедная, тоже не глупый и в политике кой-что понимает, хотя и молод еще!

Вот и Халиль-паша лет шесть или больше у нас правил, а теперь[16] слышно, люди у нас опять стали требовать прежних прав, тех же самых, за которые напрасно при Вели-паше и при Маврогенни поднимали оружие в 58 году. Это верно. А мы с братом Христо возвратились в Сфакию со славой. Тогда и у нас в горах, когда узнали о нашем деле с мсьё Аламбером, то точно так же, как и горожане канейские, всячески нас чествовали и очень превозносили...

Дорогой, когда мы ехали вместе в Сфакию, брат ничего не говорил мне об Афродите и там долго не говорил ничего. Только раз сестра наша, вдова Смарагдйца, которая с нами жила, говорит брату Христо:

— Христо, я так думаю, что тебе время жениться... Он отвечает и смеется: «Скоро женюсь. Только не на

здешней. Мне Афродита, Никифорова дочь, понравилась. Я поеду вниз и буду ее просить».

А сестра, бедная, ужаснулась: «Что это ты мне говоришь, Христо мой... Это ты такую богатую за себя возьмешь!.. Она *эмпора*[17] хочет, человека политического. Она ученая и богатая; она за архонтского великого сына пойдет». А Христо все смеется: «За меня она пойдет! За меня. Я кой-что понял тогда и имею в уме моем нечто...»

Смарагдйца ко мне обращается:

— Что ты, Янаки мой, мне скажешь? Этот человек смеется или с ума сошел.

А я говорю: «Я почему это знаю?»

И внимания большого не дал всему этому делу; однако брат Христо не смеялся напрасно так.

Вечером он мне говорит: «*Яни*, что я тебе скажу». — «Говори!» — «Любишь меня?» — «Конечно, люблю, разве я не брат твой?» — «Хорошо! — говорит, — украдем Афродиту си-

лой. А кто из нас ей понравится, пусть за того замуж и пойдет. И когда помиримся с отцом ее, и если она за меня пойдет, то ты тогда проси у меня денег, сколько ты хочешь. А я дам тебе сколько могу. А если она за тебя пойдет, то ты тогда мне будешь деньгами помогать. Теперь же пока молчи!» Я согласился, так как думал, что я ей больше брата нравлюсь и все оттого, что она меня рука за руку взяла.

Мы все приготовили; молодцов других подговорили, собрали; сели на мулов своих и дня через два вниз поехали.

Приехать надо было поздно, когда городские ворота турки уже заперут. Мы так и сделали.

Всех нас было четверо. Трое должны были после войти в дом Никифора, а один прежде. Первый постучался сам брат. На счастье наше никого лишнего в доме не было в этот вечер. Отворил работник; брат ему руку на рот; а мы его связали и положили к сторонке.

Мы трое остались пока в саду, а брат идет прямо в дом. В одном окошке внизу свет.

Никифор ужинать сел; служанка ему слу-

жила; а дочь в этот вечер кушать не хотела, легла на диван и говорит отцу:

— Нет мне, отец, охоты ужинать сегодня; я нездорова и полежу, посмотрю, как ты кушать будешь.

Старуха же, мать Акостандудаки, была наверху и спала уже. Она ничего не слыхала.

Брат вошел сперва один и поклонился. Акостандудаки был сначала удивлен, не встанет и брата садиться не просит и говорит с досадой: «Что так поздно, хороший мой, вы являетесь?» Брат с почтением, извиняясь говорит ему: «Поздний час! Что делать! Посланы мы от капитана Ам-пеласа в город по делу; но один из товарищей ушибся, и вот мы запоздали. Простите, что я к вам зашел».

— Садись, — говорит Никифор, — что делать! Покушай. А где же твои товарищи? Позови и других сюда; что же им ночью на воздухе сидеть...

Пока брат Христо с ним совещається и кушает, мы сидим и все смотрим то на дверь темную, то на окно светлое, знака какого-нибудь ждем.

Работник лежит около нас на траве, не ше-

велится. Я говорю: «Не задохнулся ли?» Нагнулись к нему и говорим: «Василий, брат! Мы зла никакого не сделаем ни тебе, ни господину; мы не грабить пришли; мы только Афродиту увезем. Распустим мы тебе повязку на рту, только ты не кричи». И приставили ему к лицу пистолет, чтобы не кричал, а повязку послабили. Он человек был хороший, мы его знали и пожалели.

Вышла служанка из дверей, наконец, и кричит:

— Василий, Василий! Поди позови других сфакиотских ребят в дом; пусть поужинают. Василий, где ты? Василий...

Я толкнул локтем товарища Маноли и думаю: «Бросимся на нее. Как закричит она, все дело испортит!», и говорю тихонько: «Маноли, я пойду один в дом, брату помогу, а ты ей тут два-три комплимента сделай!» Он говорит: «а Василий?»

И это правда. Пошел я к ней один на встречу, поздоровался и говорю: «Василий за воротами с другим нашим товарищем около мулов». А она говорит: «Господин приказал всех звать», и прямо с этим словом бежит на

то место, где Маноли сидит в тени с Василием связанным. Тогда что делать! Я как схвачу ее прямо за рот сзади рукой и говорю: «убью на месте! молчи!» Она в обморок почти от страха упала; на руки мне опустилась, и тогда мы с Маноли ее очень легко связали и рот затянули ей платком не очень крепко; рядом с Василием в тени положили, и Маноли при них обоих с оружием остался. А я скорей, скорей бегу за ворота и зову того Антонаки, который при мулах остался. Говорю ему: «Бросай мулов! Что будет — будет. Идем в дом вместе скорей».

Оставили мулов одних и побежали в дом с Антонием вместе. Входим. Никифор сидит, и брат сидит за столом и разговаривают и пьют вино. Афродита тоже села за стол и на брата смотрит.

Только что мы вошли, брат встал и говорит нам: «Аида!»

И сам к невесте. А мы к отцу. Никифор был очень силен; но... человек городской, изнеженный! Испугался и кричать не стал громко, а только руки опустил и говорит нам: «Дети, дети мои... За что вы меня губите?..» Он ду-

мал, что мы убить его хотим. Я говорю: «Не беспокойся, кир-Никифоре... Позволь мне рот тебе завязать». Он говорит: «Вяжи, Яни, вяжи... Не бесчестите только мою бедную Афродиту. Я вам денег дам много». Мы с Антонием его связали и на диван положили. А брат между тем сразу, как только Афродита закричать сбиралась, ей жгут в рот и потом положил ее бережно в капу большую и обвязал кругом кушаком большим крепко и понес — бегом побежал с ней, и мы за ним к воротам. Маноли выскочил тоже, и бросились мы все к мулам. Христо мне Афродиту на руки, сам вскочил на седло, я ему ее подал опять; и ударили мы все мулов и поскакали в гору по мостовой... Сейчас за поворот и вон из села... И слышим уже крик в селе. Это работник Василий кричал, развязался.

Мы слышим крик и своротили тотчас же в сторону и к городу, вместо того, чтобы своей дорогой ехать. Бежали, бежали... Христо говорит: «Чтобы она не задохнулась!» и вынул ей жгут изо рта; раскрыл капу, сказал что-то ей тихо; она молчит, а мы опять скакать пустились...

Проезжали потом мимо самого города. С этой стороны идет широкая и гладкая дорога под самую стеной, именно в том самом месте, где мы с Никифором и капитаном турецкую музыку слушали. Луной вся почти дорога освещена; только поближе к стене тень. Брат передал мне Афродиту и говорит:

— Держи ей рот теперь крепко рукой; поймет она, что места жилые, и начнет кричать.

Я взял ее к себе и зажал ей рот рукой крепко. Проехали мы под стеной под самой благополучно; потом мимо кипарисов больших и мимо турецкого кладбища направо повернули; отыскиали с трудом потом еще подальше одного шейха особая могила есть на перекрестке; она вся в лоскутках и в тряпочках, потому, что от болезни к ней турки эти лоскутики и тряпочки привязывают.

Как только мы ее, эту могилу шейха, увидели, я говорю: «Вот и шейх наш. Отсюда назад поворот нам самый лучший. Без всякой дороги прямо через поле и через горки переждем!» «Правда!» — сказал брат и все товарищи, и поскакали мы опять назад, чтобы запутать, понимаешь, людей галатских, если



гнаться вздумают...

Все было благополучно, однако. Не гнался никто; мы проехали очень хорошо и не спеша слишком по большому оливковому лесу, мимо многих имений и домов беев, через два села, мимо монастыря небольшого; тишина, все спят и отдыхают, и никто не потревожил нас. И так мы ободрились и повеселели, что когда проезжали через одно из последних нижних сел, то без всякой осторожности начали кричать: «Айда, айда!» и свистать, и опять кричать молодецки и, ударив мулов, поскакали вскачь со стуком и шумом по мостовой и потом кинулись тоже вскачь по большим камням ручья, который со скалы вниз бежал, и все разом кричим на все село: «ай-да-а-а!»

Пропала было тут моя бедная головка и с Афродитой нашей вместе. Я уж своего мула и не держал совсем. Где ж держать его? Одной рукой ее пред собой держу, а другой ей рот всякий раз зажимаю, когда место жилое, а когда опять место дикое, опять открываю ей рот. Так вот мул мой всеми четыремя ногами поскользнулся вдруг. И где же? На большом гладком камне, с наш двор величиной и вода

через него бежит, и весь он мокрый. Христос и Панагия! Но сказано, мул наш сфакиотский был, не упал и опять побежал вперед. Я тогда открыл ей на лице капу, нагнулся пониже к ней и гляжу. Лицо ее при луне все так хорошо видно белое! Я гляжу на нее близко, и она смотрит на меня глазами своими большими. Мне показалась она точно маленькое дитя, которое еще не умеет хорошо говорить, а лежит на руках у матери лицом кверху и на мать глядит. Вдруг мне стало очень ее жалко, и я спрашиваю у нее тихо: «Чего ты желаешь, коконица моя? Хорошо ли тебе так лежать?» Она и слова на это мне не ответила. Все молча вверх смотрит. Я поглядел направо и налево. Брат впереди, другие не смотрят; я нагнулся еще пониже и тихонько поцеловал ее. Раз, и два, и три. Она лежит как мертвая и все мне глядит в глаза. Мне стало как будто стыдно, и я оставил ее в покое.

Взобрались мы потом потихоньку на высокую скалу один за другим; выехали на ровное место между горами, ехали тихонько с полчасца и приехали к ручью. Брат говорит: «Пусть отдохнут теперь мулы, и она пусть успокоит-

ся, здесь на седло ее уже одну пересадили».

Так мы решили. Сошли с мулов, стали воду пить, а ее, Дфродиту, развязали, коврик с седла на земле ей расстелили; брат говорит: «Посади и ее!» Я ее на руки как маленькую взял и посадил у ручья на ковре, завернул ее в капю и говорю ей:

— Не простудитесь, деспосини[18] моя! Она все молчит.

Потом вздохнула и говорит: «Дай мне воды!» Мы обрадовались все, что она наконец заговорила, и друг у друга тазик серебряный отнимаем, кто напоит ее. Я напоил. Рад, что живая!

Стали ребята улаживать ей попокойнее сиденье на том лишнем муле, которого для нее взяли, наклали сколько могли помягче. А я около нее стою и смотрю, чем бы еще ей услужить и чем утешить.

Она долго опять молчала; и личика ее не видать в башлыке. Только вздыхает. Потом вдруг я слышу: «Яни! тебя ведь Яни зовут?» Я говорю с радостью: «Да! государыня, Яни слуга ваш». Она мне опять тоже: «Дай мне воды!»

Выпила и спрашивает:

— Яни, ты скажи мне, зачем вы меня увезли? Выкуп с отца взять хотите?

Я отвечал ей:

— Не знаю, милая госпожа моя, это не я, а брат мой Христо тебя увозит. Он мне старший брат, я ему помогаю. И что он мне скажет, то я и делаю.

Она опять замолчала.

Когда все на седле изготовили, поднял ее сам брат Христо на руки и посадил на седло по-мужски. Она не противилась, ножки ей вставили в ремни повыше стремян, и она сама подавала ножки и говорила: «Повыше, повыше!», а потом: «Хорошо!» И сама взяла узду в руку и поехала с нами вместе.

Тут уж мы были в месте вовсе диком, и никто ее крика услышать не мог, и мы все повеселели страх... и Антоний говорит нам:

— Будем теперь песни петь!

— Будем!

И запели все громко и поехали понемножку вперед: трах-трах, трах-трах. И песни! и песни! Луна светит на дорогу. Я еду с ней рядом и думаю: «Сделали мы дело теперь!»

А она, бедная, едет, как мальчик, не жалу-

ется ничего и ручкой своею маленькою сама узду держит.

Я гляжу сбоку на нее и думаю: «Ах, ах, ах! Когда бы она мне досталась, а не брату! Я бы ему много денег дал тогда. Кажется бы, все маслины в Галате у тестя продал и брату Христо деньги отдал, только бы она мне досталась!»

Аргиро, *перебивая насмешливо*. — Переваренное яичко.

Яни *весело*. — Да! переваренное яичко! Так мы ехали долго и очень покойно; и на рассвете уже были у себя дома. Не довольно ли сегодня рассказывать? Уже ночь. В другой раз, Аргиро, я тебе все остальное расскажу. — Яни *встает; идет запирать двери*.

Аргиро *гасит огонь*. — Однако правда, очень смелые вы люди, сфакиоты.

Яни. — Смелые! Да! только не на пользу наша смелость была этот раз. Повредила народу!

## XI

*(На другой день; на том же месте)*

Яни. — Теперь о чем рассказать тебе

прежде? Как брат Христо мучился с Афродитой несколько дней, чтоб она согласилась обвенчаться с ним? Или о сестре нашей

Смарагде, как она испугалась? Или о паше? Или о себе самом, может быть?

Аргиро. — О себе! О себе самом расскажи прежде всего.

Яни. — Что мне о себе говорить? Я брату завидовал, вот мой разговор о себе самом. Оставь это пока. А о сестре Смарагде это гораздо любопытнее и веселее. Когда мы на рассвете на самом в дверь нашу постучались, Смарагда говорит: «Кто это?» «Кто! — говорю я. — Мы конечно!» Отперла; я сейчас Афродиту с рук долой и поставил ее на землю; она сама руками за мою шею схватилась и прыгнула, а башлык с головки ее и упал.

А сестра как закричит: «Ах! Христос и Всесвятая! Чью же это вы привезли такую?!»

Христо смеется над ней: «Я говорил тебе, несчастная! что привезу Никифорову дочь; я в слове моем тверд. Вот тебе Никифорова дочь».

Но Смарагдица вовсе не обрадовалась этому, а начала кричать и поносить нас всяче-

ски и ругать.

— Несчастье! — кричит, — несчастье! Ба! ба! ба! Из такого архонтского дома дочь увезти! Из дома купеческого, великого и богатого... Разбойники вы... Анафемский час ваш! Разбойники! воры! Мальчишки вы несмысленные! Турки вы старые! Преступники вы, чтобы души ваши не спаслись... бре такие! брё сякие!

Мы ей: «Хорошо, хорошо, Смарагдица... Что делать! Постой... Постой!» Ничего и не слышит! Клянёт нас и одежду свою на груди рвет. А потом уж к Афродите самой:

— Иди, иди сюда, жалкая ты моя... Иди, птичка моя... Увы тебе, бедненькой! Увы тебе, архонтской дочери... Не бойся, душечка ты моя, отдадут тебя отцу твоему, отдадут господину хорошему Никифору Акостандудаки... Не дадут тебя горным разбойникам этим в забаву... Иди со мной...

И обнимать ее начала и волосики ей рукой расправлять и целовать ее стала. Женщина простая, рукой самой себе

вытрет рот прежде, а потом уже ее в глаза и в губы и в щеки целует и ласкает.

Афродита все молчала; только тут, когда сестра так ее жалеть и ласкать стала, и она стала сильно плакать и рыдать.

Брат застыдился и гонит нас всех: «Что ж вы стоите, мулов убирать надо... Идите!..»

А Смарагда увела Афродиту в комнаты и хотела ее успокоить.

У нас была одна очень хорошая комната, выбеленная, чистая, лучшая в доме. Туда сестра наша отвела Афродиту и посадила ее на подушках у очага. Я принес сухих сучьев и большое полено и растопил очаг, а брат ковры принес и говорит: «Постелем так, так будет лучше! Извольте!» А она, Афродита, отвернулась к очагу и на брата не смотрит, и все у нее слезы бегут.

Сестра говорит брату: «Иди ты вон, что ты тревожишь ее. Не видишь ты, она на тебя, как на врага, не глядит».

— Уйду! — сказал брат и ушел.

А мне Смарагда говорит: «Свари кофе скорее». Я было хотел достать из шкапчика кофе, а шкапчик над головой у барышни был, в той стене, у которой она сидела, потянулся через нее и говорю: «Извините меня!» Только



вдруг Афродита как встанет на ноги, как разорвет на груди своей одежду, как схватит себя ручками за косы, как закричит громко: «Оставьте, оставьте меня! Воды я в вашем доме, в вашем этом проклятом доме... воды я пить не буду!.. Оставьте, оставьте меня... Оставьте меня умереть одну здесь, дайте мне умереть, несчастной, чтоб я глазки ваши любила, добрые вы мои люди...»

Потом стала предо мной, прямо мне в глаза глядит, ногтями себе эти белые щеки до крови царапает, потом бросилась на землю, начала кататься туда и сюда, все платице на груди себе в клочки разорвала, и как могла только громко, кричала на весь дом:

— Папаки! Папаки мой дорогой! Зачем ты не защитил меня? Зачем ты покинул меня одну-одинешеньку, милый папаки мой!..

Брат было на крик ее хотел войти, нагнулся в дверь, лицо испуганное. Но мне уже так жалко стало, я его толкнул: «Ну, уж и ты тоже, куда все лезешь сюда? Не видишь, бедненькая, она убивается как... Аида! Иди прочь». Христе смутился и сказал: «Смотри, какая сердитая девушка! А я думал, она как ягненок!»

Мы с ним вышли вместе, и я говорю: «Что мы будем делать теперь?»

Вижу, что и Христо задумчив, вздыхает и молчит. Мы сели.

Я говорю: «А если старшие теперь и капитаны все ее требовать будут, чтобы отцу вернуть — отдадим ее или не отдадим?»

Христо мне на это: «А ты как скажешь, Яни, отдавать?»

Я тоже не хотел ему прямо сказать, и говорю: «Тебе, старшему, распоряжаться. Я не знаю».

Христо говорит: «Это правда; однако, если она меня ненавидит, возьми ты ее. Может быть, ты ей лицом больше нравишься. С тобой она говорит, а на меня даже и смотреть не хочет. Что ж, возьми ты ее. Опять-таки ты мне брат, и я твоей судьбе рад буду, и ты тоже меня в богатстве и в счастье не обидишь и пожалеешь меня всегда».

Мне эти слова брата моего очень были приятны. Я обрадовался и застыдился, и покраснел, и смотреть на него не могу. А он опять: «Яни! Скажи, очень ли желаешь ты ее иметь женой твоею? Возьми ты ее, если она

от меня все будет отвращаться. Что ты стыдишься?» Я говорю: «Ты давно видишь, что желаю».

Тогда Христо взял меня одною рукой за руку, а другою рукой по лицу погладил и сказал так: «А когда ты, сынок мой, того же желаешь, будем все дело вместе до конца делать. Если придут старшие ее требовать, мы скажем, что и девушку убьем и самих себя убить дадим, а по согласию ее не возвратим никому из капитанов и из всех наших старших. Возьмем наши ружья, возьмем пистолеты, возьмем и ножи и станем у дверей, где она заперта будет, а потом, как Богу угодно, так пусть и будет... Хорошо?..»

Я говорю: «Хорошо!» И мы с ним поцеловались, согласились и дали клятву друг другу.

Тогда мы стали думать об Афродите опять, что она делает теперь, и беспокоились об ней; но сестра пришла и сказала, что она плакала, плакала и никаких ее утешений не слушала, и потом на ковре, как каталась, так у очага и уснула, и теперь крепко спит у огня!

Мы обрадовались и согласились так: не оставлять ее в доме одну с сестрой, чтобы

сестра не выдала ее обратно; а чтобы всегда хоть один был при ней вооруженный дома. Надо было к Антонаки и к Маноли сходить и их подговорить помощь нам подать, если нужно будет. Я думал сам пойти к ним; а брат говорит: «Нет, я пойду к ним. А ты за ней смотри. Если проснется, окажи ей всякое гостеприимство и уважение, и так как она с тобой говорит, а не со мной, то тебе и легче будет узнать, кого она предпочитает. А я и твоей судьбе буду очень рад».

Он ушел к другим молодцам, а мы остались с сестрой дома. Я очень устал, не спав всю ночь и, не раздеваясь, как был, лег в углу темном на бурку, оружие около себя к стенке положил и заснул так крепко, что не помню даже, сколько часов я спал.

Сплю, и вот что любопытно, вижу я во сне, что брат Христо то кладет мне венчальный венец на голову, то отодвигает его; а я будто говорю: «Благослови!» А он: «Ты все спишь и невесту во сне потерял...» Я говорю во сне: «Нет, она спит, а не я». А брат еще громче и смеется: «Потерял ты ее во сне, Янаки... Все спишь...» Я рассердился и вдруг проснулся... А

брат и в самом деле нагнулся надо мной и смеется: «Проснись, паликар... ты сторож худой. Я у тебя Афродиту украл. Был у нее, и она говорила со мной... и кофей у меня кушала и варенье приняла из моих рук!..»

Я отвернулся опять к стене и сказал: «Э! ну, и хорошо тебе... А мне дай же спать еще».

Христо говорит: «Спи!», и ушел.

А когда он ушел, я уже заснуть не мог; весь сон мой пропал, и я стал думать и беспокоиться о том, что она ему говорила в это время и что он ей говорил. И как зверь, я вдруг рассердился, зачем я так долго спал и зачем дал брату время прежде моего заговорить с ней.

Встал, посмотрел на часы — уж время к полудню близится. Так я проспал долго... Подумал я, что мне делать? И пошел в ту комнату, где она сидела, и думаю: «Может быть, я и точно лицом ей больше нравлюсь?»

Не ревнуешь ты, Аргиро? Не ревнуешь? Это хорошо. Оставь, это дело прошлое, и ты увидишь после, что она даже ненавистна мне стала, как враг... погоди, все расскажу я тебе, мой апрельский цветок... Все расскажу!

## XII

Видишь ли, милая моя, брат это шутя со-  
лгал, что Афродита с ним помирилась и ко-  
фей из рук его приняла и варенье, он все не  
отчаявался, шутил, а дело было иначе. Пока я  
спал, как дурак, Афродита проснулась; а как  
проснулась, так опять стала тосковать и пла-  
кать неутешно. Сестра в это время, пока она  
спала, приготовила кушанье, какое умела  
лучшее, и брат сам смотрел, чтобы все было  
получше и чище, и чтобы все ей было прият-  
но. Однако она кушать не стала: даже хлеба  
не ела, а только опять все воду пила и молча-  
ла.

Только спросила у сестры: «Как вас зовут,  
кира моя?» И как узнала, что ее зовут Смараг-  
дицей, так и замолчала опять.

— Покушайте этого. Извольте вот этого.

— Нет! Нет! Нет! Благодарю!

Наконец сестра сказала ей: «Очень ты  
брезгаешь нами, сельскими людьми, я вижу.  
А мы тебя любим, коконица ты наша. Дай я  
тебе чистым платком слезки твои вытру...»

Афродита еще больше стала плакать и ска-  
зала сестре: «Я вижу, у вас, Смарагдица, доб-

рая душа. И если вы меня жалеете, спасите меня и попросите ваших добрых братьев, чтоб они меня домой к отцу возвратили».

Сестра обещала ей непременно это сделать, а брат как увидал, что Афродита на него все-таки не смотрит, ушел, и я их так и застал вдвоем с Смарагдицей.

Вижу, Афродита сидит у стенки, бледная и ничего не говорит.

Я говорю: «Кланяюсь вам, деспосини моя!» Она отвечает: «Доброе утро, Яни!» Потом вдруг встала и упала мне в ноги и начала просить меня жалобно: «Янаки мой, братец мой хороший, мальчик мой добрый, отпусти меня домой к отцу моему, милый. Отпусти, эффенди мой! Золотой мой... Даст тебе Бог за это все приятное, все хорошее и в этой жизни, и в той».

И ноги мои схватила; я нагнулся поднимать ее; она руки целовать начала.

Ах! Увы мне! Не ожидал я этого, Аргиромоя, чтоб Афродита так просила.

Пропало и ушло от меня все мое мужество, и я сказал сестре: «Что будем делать, Смарагда?..» Сестра говорит: «Ты знаешь». Я отвечаю

ей: «Нет, ты скажи». А она: «Что ты меня спрашиваешь; разве это не грех? Разве это не жалость? Должны вы, разбойники, ее назад отцу отдать». А та все просит, все плачет, все с полу не поднимается, все руку мою держит и к губам ее подносит... и не слушает меня; я прошу ее: «встаньте, барышня, встаньте!» Но она: «Нет, Янаки мой, Полудаки мой, я не встану от ног твоих, пока ты клятвы мне не дашь, что к отцу меня возвратишь в дом...»

Всплеснул я руками: что было мне делать? Брату дал клятву не уступать ее никому, убить ее даже, а ей надо теперь другую клятву давать!

И смутился я, и застыдился так, что о любви или о женитьбе не могу слова сказать, ни за себя, ни за брата. Что было мне делать? Потерял я голову, оторвался от нее и вышел вон; сел за воротами и думаю, и думаю... После этих ее просьб она мне еще больше понравилась; я очень пожалел ее после этих просьб.

В это время, когда я так думал, сидя за воротами, возвратился брат Христо и привел с собой нашего священника отца Илариона.

Я ни *останавливается и смеется* тихо.



Аргиро: — Чему ты, Янакн, теперь засмеялся?

Яни, *продолжая весело улыбаться*. — Я радуюсь потому, что об этом попе нашем вспомнил. Очень мы его любили. Вот ты видишь, Аргиро, что меня Бог не обидел. И сила, и рост, и плечи у меня какие... Но, я думаю, что я саранчой показался бы тебе, если бы ты по па Илариона нашего увидала. Красный, бородатый; в спине ширина вот такая. Ужас! Ходил он раз вместе с нами еще прежде в город, и увидел его там один австрийский купец, из Вены приезжал, только православный. Он погречески хорошо знал. Когда он увидел около нас попа, говорит нам: «Этот герой кто такой?..» Мы говорим: «Поп наш!» А австрийский купец удивляется: «Какой у вас ужасный поп. Я думал, это турок! Отчего же, говорит, он у вас не в широкой одежде, а в синих шальварах и в короткой жилетке какой-то?» Я говорю: «Так у нас в горах привыкли попы; короткое носят. Легкость в этом находят». Тогда этот купец говорит: «Отче, благословите меня». Священник ему: «Отчего же — это мы можем... Во имя Отца и Сына...» Купец пожал

ему руку и еще насмешил нас. «Я, геронта, до сих пор турецким пашам так завидовал, так завидовал их власти и чести их, что хотел по-турчиться и в службу падишаха вступить, а теперь говорю, нет! Не желаю более быть турком, когда у христиан в горах священники так крупны и так ужасны... Спаси меня Боже!..» А поп купцу на это отвечает: «Не по страху человеческому тебе, мусьё мой, турчиться не надо, а по страху Божию, ибо хотя ты и в этой Австрии живешь, а все-таки Христа Распятого исповедуешь и ты душу свою пожалеть должен. А что я велик и силен, так это у Бога немного значит; Голиаф и сильнее нас с тобой еще был, а Богу был негоден и Господь его силу рукой отрока сокрушил. Все мы, мусьё, как трава; завтра высохнем...» Очень был умный священник и хитрейший! А смелость его паликарскую ты можешь видеть вот из чего. Незадолго до того, как нам Афродиту украсть, случилось в Канее другое дело. Сговорился один красивый, молодой и богатый купеческий сынок с девушкой молодой. Эта девушка была собой очень нежная и очень красивая, дочь вдовы Ставрулы, небога-

той вдовы. Отец и мать молодца не хотели, чтоб он на дочке Ставрұлы женился, а на богатой. Родители запрещают, и потому ни один священник ни в городе Канее, ни в ближних селах венчать их не может. Стал молодец искать попа подальше, и вот наш поп Иларион переоделся в фустанеллу белую арнаутскую и эллинскую длинную феску надел на голову, и набок, как отчаянный, ее сбил, и оружие за пояс. Это значит, элин приехал из свободной Эллады по своим интересам в Крит. Очень он был велик и красив; боялись люди наши, чтобы его в городе все не заметили, и так как у него борода была огромная черная до пояса, то боялись мы, чтобы не подумало начальство турецкое: «Не разбойник ли это бежал сюда из Эллады? Когда он приехал? Зачем? Да кто он? Да откуда он?» Однако все хорошо кончилось. Ночью с пустого берега за селом Халеппой сел он в лодку и въехал в пристань Канейскую тихо, и на берег сошел с другими не ночью, чтобы обходы турецкие не остановили их, а на рассвете, уже когда стал открывать двери свои и лавки народ. Пришел прямо в дом к Ставрұле и обвенчал

там молодых. Так в фустанелле и венчал, только эпитрахиль надел и что еще следует все имел за пазухой. Обвенчал, взял горсточку золотых с жениха и сейчас же, не спеша, через базар прямо на дорогу; все оглядываются, и турки, и райя: «Ну, эллин!» И кулаки сжимали, то есть: «вот какой ужасный эллин!» Пошел тихонько к друзьям в Халеппу; в Халеппе переоделся, на мула и домой. Купец тот и жена его к паше, к епископу, к консулам. Никто и понять не может, откуда поп взялся.

А на этого клефта бородатого, который по базару красовался, никто и не думал.

Оттого мы все много его и любили, что он был молодец и очень умный человек.

Вот пришли они вместе, поп Иларион и брат мой Христо и застали меня в великом смущении. Я поцеловал у попа руку и сказал ему «добрый день». Сели мы потом, и поп Иларион спрашивает: «Что же ваша пленница, Янаки, здорова ли? И кого она из вас выбирает? Пусть скорее выбирает, а я обвенчаю мигом».

Я говорю: «Никого она, поп мой хороший,

не желает. Она плачет и убивается по отцу, и я того мнения, что ее бы надо отправить домой опять. Насилие — что хорошего — грех». Тогда поп мне ответил так: «Насилие, которое вы сделали, грех, конечно, не только тем, что это противу воли родителя ее, но и ее вы оскорбили сильно. И она права, что гневается и убивается; она, это правда, не совсем вам, простым ребятам, пара. Хотя, впрочем, и Никифор Акостандудаки, отец ее, больше деньгами, чем ученостию или званием каким-нибудь, или родом славится. А деньги — дар случайный. И я думаю, отчего бы, Христо, или тебе, Яни, не жениться на ней. Я думаю даже, что она теперь по неразумию девичью и по пустому страхованию, либо по гордости не хочет обвенчаться. Она еще глупенькая и не понимает, что честь ее все равно теперь потеряна. Люди у нас осуждать и злословить любят. Скажут: «где ее честь теперь, когда она с четырьмя ребятами лихими и красивыми по горам ездила ночью?» Не скажут люди: «чем она виновата?», а кто и скажет это, тому ответят: «Виновата, нет ли, а все уж не то! Чистоту утратила». И пусть Никифор Акостандудаки

ей супруга богатого тогда ищет. Придется ему опять за своего же мальчика какого-нибудь, который в лавке служит, с великою охотой и радостью ее отдать, а не за архонтского сына. А она, глупенькая, об этом по молодости своей не размышляет. Вот что вам я, поп, говорю!..»

Брат Христо на это говорит: «Я сам так еще прежде думал. Теперь, когда она будет пристыжена, отчего бы ей за нас не выйти?» А я говорю: «А я вот и не подумал об этом! И, если это так, так ты бы, геронта, так ей самой и сказал».

— Я так ей самой и скажу, — отвечает поп и говорит: — сведите меня к ней.

Мы встали и повели его к Афродите. И как ни были озабочены оба, а все-таки засмеялись, когда увидали, с каким трудом поп в низенькую дверь нагибается, чтобы пролезть к ней...

Господи Боже мой, что за поп! Что за зверь был большой!

### XIII

Когда поп Иларион вошел к Афродите, она

встала и поцеловала его десницу; однако на все речи его отвечала одно и то же: «Вы бы меня домой к отцу моему, господину Никифору Акостандудаки, отправили».

Поп сказал ей: «Тебя теперь уже все люди в городе осуждать будут. Такая твоя горькая судьба, моя дочь! Что делать. И трудно будет тебе, кроме Христо, либо Яни, этих братьев Полудаки, за кого-нибудь замуж хорошо выйти».

Афродита же на это отвечала ему: «Я монахиней лучше буду, чем мне за простого деревенского человека, за горца-мальчишку выйти замуж. Я на остров Тинос уеду. Пусть Бог за мной смотрит и хранит меня, когда люди будут ко мне несправедливы». Поп Иларион вышел от нее недовольный и сказал: «Много ума и много мужества у этой девчонки. Она очень красноречива и разумна!.. Как ее убедить?»

Мы с братом посмотрели с сожалением друг на друга; но я еще скажу, что я и обрадовался, когда подумал, что она не его мне предпочитает, а от обоих нас отвергается.

Сестра Смарагдица сказала нам: «Она не

ест ничего; кроме воды свежей ничего не жа-  
лает... Чтоб она не умерла у нас!»

Смутился брат мой сильно; подумал и по-  
шел к Афродите сам, и я за ним.

Брат поклонился ей с великим уважением  
и спросил ее о здоровье.

Она очи свои светлые возвела на нас и от-  
ветила брату кротко: «Благодарю вас. Я здоро-  
ва».

Брат, не садясь, сказал ей:

— Ты ничего, деспосини моя, не кушаешь.  
Ты огорчаешь нас этим ужасно!

Афродита ни слова. Все сидит и молчит. Се-  
ли и мы против нее и тоже молчим. Брат го-  
ворит, улыбаясь: «Ты хоть бы, госпожа моя  
добрая, с братцем моим, Янаки вот этим, удо-  
стоила поговорить что-нибудь. Может быть,  
он тебе больше нравится, чем я?..»

Как покраснеет она, как поглядит на нас  
на обоих!.. Гордость, гордость!.. Боже мой...  
Что делать! Терпение!

Так мы от нее даже ни одного доброго сло-  
ва не дождались и ушли опять.

Поп ждет и спрашивает: «что нового?» Я  
говорю: «Отчаяние!», а Христо брат: «Зачем



ты говоришь — отчаяние! Я тебе еще в городе говорил: есть Бог. Я законным браком хочу соединиться с ней... Может быть, она переменит еще мнение».

Сестра Смарагда все ее защищает и нас осуждает: «Что ты Христо — *бре*, говоришь *есть Бог!* Что имени Божию делать тут в ваших воровских делах? Всесвятая Мать Божия не на вас разбойников и злодейских мальчишек смотрит, а на людей честных и добрых... Анафемский ваш час, несчастные...»

Смарагда за нее, а поп за нас: «Грех сделан; семья девушки опозорена; поправлять браком надо, а не препятствовать. А впрочем, если она в монастырь пойдет — это разговор иной! За другого же кого-нибудь выходить ей замуж не стоит труда».

Пока мы так спорили, бегут Антонаки и Маноли и говорят:

— Идут к вам старшие, и капитан Ампелас сам приехал.

Тогда брат в первый раз пожелтел весь от испуга, хлопнул себя по коленке и сказал:

— Э! братья!.. Не выдайте меня теперь, добрые братья мои...

Мы все укрепились духом и сказали:

— Будь покоен! Вместе дело делали, вместе и все понесем!

Решил и я не отставать от других; иначе мне было бы очень стыдно перед другими паликарами, и хотя мне было очень жалко Афродиту, однако я побежал к ее двери и запер ее там.

Смарагда нам кричит:

— Что вы хотите делать, разбойники, пожалуйста вы душу невинную и меня, вдову бедную, и маленьких детей моих...

А я кричу ей:

— Прочь, глупая! Чтоб ты даже «кхх!» не смела бы сделать...

Вот пришли капитаны и старики.

— Добрый день вам, молодцы.

— И вам тоже добрый день, капитаны!

— Здоров ли ты, Христо? Здоров ли ты, Яни?

— Благодарим вас... Садитесь, капитаны!..

— Благодарим, садитесь и вы...

— Ничего, капитаны! Мы постоим. Мы за честь считаем, что вы удостоили сами потрудиться к нам...

Так приняли мы старших с уважением великим и посадили их всех на стулья, а сами стоять остались и велели сестре кофе скорее сварить.

Начали мы сами разносить кофе со всевозможными комплиментами и *селямами*.

Наконец сам капитан Коста начал так:

— У вас, Христо, новости есть?

Брат отвечает:

— Какие новости? Кажется, у нас все по-старому.

— А Никифорова дочка здорова? — спрашивает капитан Коста.

Брат молчит и глаза опустил. Старики улыбаются и просят его отвечать. Брат долго молчал и стыдился (все это, понимаешь, притворно) и наконец отвечал им так:

— Вы, как старшие, свет лучше нас, молодых, знаете. И я не смею скрыть от вас, что я Афродиту увез у отца. Только вот вам Бог мой, что я ни ей самой, этой молодой, ни ее отцу, ни даже служанке их вреда не сделал никакого... А только связали их всех, кроме Афродиты. Она же, Афродита, по воле своей со мной бежала, потому что, капитан, с того дня как

мы с тобой в Галате кушали у Никифора, уже началась между нами любовь. Но так как она знала, что Никифораки, отец ее, имеет гордость и по согласию ее не отдаст мне, то и приказала себя украсть как будто силой. И все в надежде на милость Божию и на то, что Никифораки после простит нас.

Я удивился, слушая брата. Дивился его уму и какой он на всякий случай молодец и мошенник. А впрочем, стал думать с досадой в то же время: «А если и в самом деле у них соглашение было? Где же это они успели? И не знал уже, что подумать. Старики сказали на это: «Что ж, когда ее воля была на это, то это счастье этому молодцу Христо и нашим сфаккиотам гордость, что их горожанки молодые из архонтских семейств так любят!»

Потом спросили у меня:

— А ты, Янаки, как об этом обо всем скажешь? Я говорю:

— Что мне думать? Он брат мне и старший!

— Хорошо ты это говоришь, Янаки! — сказали старики. И капитан Коста пожелал сам видеть Афродиту. «Я, — сказал он, — очень бы

желал сам с ней поговорить и утешить ее, и даже я могу много для вас постараться, чтобы Никифораки вам простил».

Христо согласился как бы с радостью и сказал:

— Я только пойду посмотрю, не почивает ли она. Устала от дороги. Сейчас она вас примет.

Побежал к ней и затворился с ней. Старик сидят, говорят между собой, смеются и рады как будто этому делу; только капитан Коста вздыхает немного: «Боюсь, чтобы Никифор этот мне у паши не повредил и все дела мои не испортил, не сказал бы мне: это ты привел разбойников в мое жилище и через тебя лишился я возлюбленной и единородной дочери моей. Затруднение большое! И стыдно моей белой бороде будет слушать такие речи».

— Напишите ему письмо, — советуют ему другие.

— Я думаю поговорить с ней и от нее письмо взять. И сам поеду туда, когда обвенчают их. Когда же брата будут венчать, Янаки?

Я говорю:

— Еще не знаю я.

А все другие старики капитану закричали:

— Ни, ни, ни! Не ездит туда, капитане! Ум ты потерял что ли? Тебя-то непременно по жалобам Никифора паша схватить велит, и всем нам будет труднее.

Потом старики успокоились и спрашивают у Ампеласа и у меня:

— Хороша ли она?

Я смотрю, что капитан Коста ответит.

А капитан отвечает: «Э! нельзя и дурной назвать: нежная, — горожанка, архонтопула!»

А брат все нейдет.

Наконец он пришел и стал извиняться перед стариками.

— Афродита, невеста моя, — сказал он, — очень много вам кланяется и просит извинения, что теперь никак даже видеть не может никого. Прошу вас, капитан Коста, господин мой, простите ей. Девушка! Вы сами лучше меня все это знаете... Стыдится! Очень стыдится... И я вас прошу и пренизко вам кланяюсь, чтобы за это на нее не сердились... Что делать, стыдится!.. Я завтра уговорю ее, чтоб она хоть вас, капитан Коста, повидает.

ла. Я и теперь говорю ей: «Ведь он твоему отцу друг, чего ты боишься?» «Стыжусь!» — говорит.

И начал еще просить, чтобы капитан завтра непременно бы повидался с ней.

Старшие говорят: «Конечно, так! Девушка застыдилась. Сама убежала с паликаром, разумеется, стыдно».

А старик Коста спрашивает у брата: «Скажи мне, однако, Христаки, отчего ж ты взял отца и работника, когда она по воле убежала? Разве она не могла из дверей вечером сама к тебе выйти?»

— Все стыд, все стеснение, капитан! Девушка! Пусть лучше думает народ, что ты, Христо, силой меня унес! Что ж мне делать!

Ампелас головой покачал и сказал: «Этого я не хвалю со стороны ее. Хорошо! Люби молодца, хочешь уйти с ним против воли отцовской и обвенчаться — один грех; а из лукавства любовнику приказывать, чтоб он родителя веревками вязал насильно и рот ему зытыкал — еще больше грех... Нехорошо Афродита сделала. Но может быть, ты, Христо, и лжешь?»

Брат начал клясться капитану, что он говорит правду, все правду, и капитаны ушли.

Христо еще раз просил, чтоб Ампелас по-видался с Афродитой, когда она больше привыкнет.

— Я на вашу помощь надеюсь, — сказал он ему. — Что вы у господина Никифора Акостандудаки попросите прощения за нас обоих и что он нас с Афродитой своими благодеяниями не забудет.

Капитан ничего ему не отвечал; все он брату не верил, кажется, и ушли все старшие от нас.

Ушел и поп Иларион к себе.

Брат тогда сказал мне: «Я уж отдохну теперь, Янаки! Спать хочу». Он лег, а я пошел к Антонию и к Маноли и долго у них сидел. Мы покушали там и пили вино и песни пели; но я все думал об Афродите и сказал наконец друзьям: «Послушайте, Антонаки, и ты, Маноли, я вам как друзьям скажу. Как вы думаете, что брат мой Христа правду говорил капитанам, будто согласился прежде с Афродитой или нет, так что даже и я этого не знал?» Они подумали и сказали, что скорее лжет. Я же



ободрился после этого и думал, что еще повернется дело в мою пользу; и брату решился об этом ни слова не говорить из гордости.

## XIV

Дня два-три еще мучились мы с Афродитой. Сначала она все отвращалась от нас и все отвергала. Только с одною сестрой говорила и от нее принимала все. Спать одна боялась и верила только Смарагде.

— Спи со мной ты, моя милая, во имя Божие прошу я тебя. Так она Смарагду просила. Сестра затруднялась через

детей своих, мальчик был еще мал и кричал по ночам, а старшая дочь ее, хотя ей было уже пять лет, боялась спать одна без матери. Сестра говорила Афродите: «Коконица моя! тебе мои дети спать не дадут». Но Афродита клялась, что ей это ничего. Брат узнал об этом, велел Смарагде затвориться с нею и взялся сам детей няньчить и баюкать.

— Пусть только ей во всем удовольствие будет, — сказал он.

И как только вечер, он от детей не отходит, уговаривает, ласкает их и мальчика сам пес-

нями баюкает и качает.

На — на,[19] На — на, дитячко! Белое, пре-  
белое, Сахаром кормленное, Muskусом поли-  
тое, Пригласили в город. Девушки две видят  
Схватились, дерутся...

— Я не дам дитячко'

— Я возьму себе!!

Мальчик у него спрашивает: «Это я бе-  
лый?» Христо говорит: «Ты белый».

— А ты разве не белый; не хороший?

— Нет, — отвечает брат, — и я белый, а ты  
еще лучше меня.

Мальчик говорит:

— А ты сахару мне не дашь?

— Если ты не будешь кричать, эта хорошая  
девочка, которая там спит, тебе много сахару  
даст.

Мальчик и молчит.

Я говорю брату: «Однако, ты, Христо, кор-  
милица хорошая!» — Он смеется: «что де-  
лать!»

Терпение было у этого молодца, чудная  
вещь!

На второй день сестра Смарагда уговорила  
Афродиту немного покушать. Мы с братом об-

радовались, сами изготовили лучшее кушанье и хотели подавать ей, но сестра опять сказала: «оставьте вы ее; она хочет, чтобы только я одна с ней обедала».

После этого Афродита стала два раза в день кушать; и кушала хорошо, как следует; и кофе пила, и варенье наше кушала, а на третий день даже иголку взяла, начала сестре в работе помогать и с детьми ее немного играла; но все печальная, все вздыхает.

Мы с братом по несколько раз в день входили к ней, все в надежде, что она простит нам и помирится с нами. Входили и оба вместе, и порознь; она здоровалась с нами благородно, но разговаривать все не хотела; всякий раз закрывала лицо платочком, прислоняясь головой к стене, и молчала.

Я говорю сестре:

— Она спокойнее стала; не плачет и не сердится больше. А сестра отвечает мне:

— Я ей сказала: «не убивайся, не заболевай, глазки мои. Бог поможет. Подожди еще немного, либо твой па-паки из города пришлет кого-нибудь сюда, либо капитан Коста заставит их тебя отправить домой».

Я не знал, что подумать и чего нам ожидать. В селе об этом деле все разговоры и смех; одни радуются, другие

осуждают. А снизу, из города, никаких слухов, ни худых, ни хороших. Капитан Коста не показывается. От Никифора ни письма, ни выкупа, ни посланного какого-нибудь человека нет. Так прошла неделя. И к нам никто в дом не ходит. Тишина!

Я начал уже скучать и тосковать и думать: «Не лучше ли бы ее вернуть к отцу? Она нас знать не хочет, и Бог нас за насилие наше как бы не наказал».

Брат же Христо в это время то сердится, то вздыхает, то опять радуется и терпит все. То выйдет от Афродиты разгневанный, ударит себя в грудь и кричит мне: «Надо бы, Янаки, эту псицу маленькую убить! Зачем она нами так пренебрегает? Разве с деньгами и мы купцами не будем?» То опять идет к ней, старается служить ей, смирение и почтение всякое обнаруживает, стоит перед нею как раб и спрашивает:

— Что вам нужно для вашего удовольствия, госпожа моя?

Но у нее один ответ: «Ты сам знаешь, что мне нужно!»

Однако один раз я вернулся домой от попа Илариона и вижу, что брат выходит от Афродиты веселый, смеется тихонько. Я к нему бросился: «Что нового?» А он сейчас серьезней стал опять и холодно отвечает: «Ничего».

Я спросил у Смарагды, а Смарагда с простой говорит мне всю правду.

— Видишь, Янаки, Христо не велел тебе этого сказывать; но я тебе скажу. Он рад оттого, что Афродита сама его позвала к себе и долго с ним говорила. О чем они говорили, не знаю. Только потом она мне сказала: «Кира-Смарагда, если я вашего брата упрошу отослать меня к отцу моему, я вам за вашу доброту большие подарки сделаю: для Мариго, для вашей дочки, сделаю платье какое хотите и платочек жолтенький на голову ей куплю с бахромой хорошею. А вам серьги из золотых монет; и мальчику вашему пришлю то, что вы мне прикажете. Просите и вы вашего брата».

Я спрашиваю:

— А обо мне, Смарагда, она ничего не ска-

зала?

— О тебе она ничего не сказала, — говорит сестра. Я обиделся, оставил сестру и подумал так:

«Я, кажется, глуп в этом деле. Не должно быть глупым. Человек должен иметь ум пробужденный. Посмотрю — не обманывает ли меня теперь брат».

И вот я дождался, когда Христо опять пошел к Афродите и затворил дверь. Я спрятался, чтоб он думал, что меня дома нет, а потом подкрался к дверям и стал в щель смотреть и слушать.

Есть песенка одна; если ты, Аргиро, у меня спросишь, из какого места эта песенка, я не могу тебе сказать, а кажется мне, что она смирниотская. В ней поется о том, как молодой один сватается за девушку. Он ей комплименты делает. А она ему с гордостью: «А ты кто же это такой?» А он ей: «Я из дому хорошего, известного». Потом она соглашается, потому что уже любит его. Понравились ей эти вещи, которые он ей говорил. Так точно и Христо с Афродитой говорил; а я в дверь все видел и слышал.

Он ей любезно, и так, и так: «Деспосини моя! Кокона моя! Коконица моя!»

А она ему: «Любопытное это дело. Разве я могу насильно тебя любить?»

Я жду за дверью и думаю, что брат скажет ей еще раз: «Может быть, тебе мой младший брат Янаки больше лицом нравится».

Но он, лукавый, обо мне уж перестал говорить, а все о себе.

— Я (говорит он ей) благодарю тебя за честь, которую мне делаешь, что приглашаешь меня сама говорить. Только не просись домой, потому что я тебя люблю!

— Деньги ты отцовские любишь, — говорит на это ему Афродита.

Брат ей на это отвечает очень умно: «Напрасно ты говоришь, что я деньги твоего отца Никифора люблю, а не тебя. А если я тебе скажу так, что отец твой, может быть, денег и не даст нам, если мы женимся с тобою. Прогневается и не даст. А если я теперь потребую большой выкуп и отпущу тебя домой, так выкуп этот я, конечно, получу. Отец твой мне, верно, сюда с нарочным человеком пришлет. А я все-таки хочу, чтобы ты женой моею была

и без денег. Теперь ты слышала? Повенчайся только со мной; а я тебе клянусь, что не стану ни слова о приданом говорить, пока ты сама не соскучишься без денег и не скажешь мне: «Христе! пойдём поклонимся отцу моему, чтоб он нас простил и денег нам дал».

Я гляжу, гляжу в щель на лицо ее — что она скажет и как поглядит? Задумалась. Подумала немного и спрашивает у него очень ласково: «Ты когда ж меня полюбил, Христо?»

Он говорит: «Я тебя полюбил, Афродита, с первого дня, как увидел тебя на гулянье, когда арабы плясали. Я тогда подумал: Господи Боже! Господи Боже! Какой такой счастливый человек возьмет за себя эту девушку. Я бы, кажется, жизнь отдал, чтобы только поцеловать ее раз. Вот что, госпожа ты моя, я тогда подумал, когда смотрел на белое лицо твое и на ручки твои, которые в перчаточках были, и на сережки красивые. Ты мне показалась точно жасмин душистый и белый, или померанцовый цветок».

А я стою за дверьми и говорю себе: «Вот что брат думал на арабском празднике, а я тогда думал, что она на переваренное яичко по-



хожа. Его мысли лучше моих были».

Афродита в первый раз улыбнулась тогда и поглядела на брата весело. «Я думаю, ты все это лжешь, Христо!» — сказала она ему.

Встал мой брат и стал ужасно ей клясться. Она слушала его; начала вздыхать и сказала ему вот что: «Смотри ты, Христо мой, что я скажу тебе. Вот если ты меня так любишь и жалеешь, ты должен меня отдать отцу моему назад. Пошли за капитаном Ампеласом за старым. Он меня и отвезет домой».

— А твой отец, — отвечает брат, — пашу попросит, и меня схватят здесь старшие и запрут в тюрьму и пошлют в изгнание. Так уж если терпеть наказание, так за вину, а не за хорошие дела. А если я покаюсь и отвезу тебя, а меня все-таки накажут, какой мне выигрыш? Потом бы ты, коконица, подумала о том, что худые люди про тебя скажут... Потому что ты с паликарами по горам ездила ночью. Скажут, ты согласна была на это.

Она опять молчит и вниз смотрит. Брат ей говорит: «Что ж ты молчишь? Скажи ты мне хотя одно доброе слово».

— Вот мое доброе слово, отправь меня на-

зад к отцу моему и возьми с него побольше денег; сколько хочешь. Он тебе много за меня выкупу даст, хотя бы мельницу и все маслины свои продать пришлось, на то он согласится, чтобы только меня у себя опять в доме видеть. Сколько ты хочешь денег, Христо, скажи мне, я тебя прошу, мой милый Христо! Скажи, скажи... Я напишу отцу — он даст, сколько ты прикажешь.

Брат говорит ей на это с усмешкой:

— А если я тебе так скажу: мне бы лучше на тебе без денег отца твоего жениться. Деньги я могу еще найти, потому что я молод и очень умен; а такую девушку приятную я не скоро найду. Я в тебя очень влюблен. Лучше я тебя без денег возьму, чем деньги возьму большие и тебя отдам.

— Что ты во мне такое нашел хорошее? Ростом я мала!

— И лира золотая, — говорит брат, — гораздо меньше, чем подкова железная, но она золотая. Что мне искать хорошего в большой ослице?

Афродита на такие его дьявольские слова покраснела и сказала, застыдившись: «Какие,

однако, ты слова хорошие знаешь! Я думала, ты не знаешь таких разных слов!»

Потом она взяла обеими ручками своими брата за руку и заплакала тихонько, и сказала: «Вот что я тебе скажу, мой бедный Христо, может быть, ты и правда в меня влюблен. Так если ты так влюблен, то пожалей меня и отошли назад отцу. И если он благословит, может быть, я привыкну к тебе и выйду за тебя замуж...»

Брат печально отвечал ей на это:

— Увы! кокона моя, если я тебя отошлю вниз, ты никогда за меня, несчастного и простого горца, замуж не выйдешь... Гордость тебе помешает.

Афродита побожилась ему, что она не имеет к нему отвращения и сказала еще так, очень для него приятно: «Если ты мне не веришь, спроси когда-нибудь у Катйнко и у Афины, что я про тебя им говорила, когда вы все у нас в Галате кушали. Афина говорит: „какие прекрасные пали-кары, все эти сфакиоты молодые“. А Катйнко спросила: „Который лучше? Я не могу сказать — все хороши!“ И я тогда сказала: „Все хороши. Только братья По-

лудаки эти оба лучше всех; а из братьев Полу- даки старший мне больше нравится еще, чем младший". Посуди сам, разве бы я стала твои записочки принимать без этого? Не стала бы я к Цецилии ходить, чтобы с тобою видеться. И все, что эта Цецилия в саду тогда говорила, это все правда... Только я думала, что мы немного пошутим и оставим все это! Что делать, Христо, я виновата, я знаю... Только, ты если меня любишь, ты должен пожалеть меня!»

И после этого она долго просила и руку его держала в своих руках. А брат сидит вот так, облокотившись, печальный и задумчивый и слушает ее.

Наконец он ей сказал вот что:

— Я согласен, Афродита, отвезти тебя к отцу твоему, потому что я вижу, что гордость тебе мешает за меня замуж выйти. Ты богатого купца городская дочь, а я горец сельский! Хорошо! Только пожалей же и ты меня, па-ли-кара. У меня тоже гордость и любочестие есть. Разве не стыдно мне будет, когда все скажут: «Испугался и отдал ее». Или скажут: «Она таким дураком брезгала!» Или:

«Люди отняли ее у него. Плохой паликар!»  
«Если уже отдавать тебя отцу, я отдам сам тебя ему, я сам отвезу тебя опять вниз, а другому никому не дам. Только дай мне время — напиши отцу своему обо мне хорошее и похвальное письмо и чтоб он ответил и поклялся, что схватить меня не велит там внизу и никакого зла предательского мне за мою вину не сделает, когда я приду сам к нему в дом с покаянием. Напишешь, кокона моя?»

— Ба! а то не напишу? Конечно, напишу. И сейчас! сейчас! — говорит с радостью Афродита.

Просит бумаги и чернил, и перо. Встала, от радости почти что прыгает...

Брат ей говорит на это: «Вот ты как рада, что оставишь меня!.. Это мне очень обидно! И даже никакой награды мне не будет от тебя за то, что я пошлю к отцу твоему письмо это?»

Она сжала ручки пред ним и глаза к небу вот так подняла и начала удивляться, что он ей не верит, и еще раз сказала: «Или ты, глупенький, не веришь мне, что отец мой все маслины свои продаст и наградит тебя, когда

ты ему меня возвратишь...»

Брат покраснел и в землю смотрит, на нее не глядит и молчит.

Она говорит: «Не довольно тебе этого?» Христо отвечает: «Ты все о деньгах отцовских... А я тебе другое уж сказал... Когда бы ты хоть эти дни, пока ответ от отца придет, любила бы меня, а потом как хочешь...»

Афродита тогда тоже помолчала, и сидят они друг против друга. Он вниз глядит; она на него смотрит внимательно, внимательно!

Потом она закрылась ручками и говорит: — Может быть, ты хочешь целовать меня и ласкать... за это. Так, если хочешь, целуй...

Христо отнял ей ручки от лица, и они стали целоваться и обниматься. И она спрашивает:

— Пошлешь письмо, пошлешь, утешь ты меня, душенька ты моя?

А он: «Не письмо — я жизнь мою пожертвую для тебя... Когда ты меня хоть немного полюбишь и так поласкаешь... Ты — моя жизнь!..»

Я уже не мог больше стоять за дверьми и смотреть. Мне стало завидно и так грустно,

что он ей больше моего нравится, что я ушел скоро, скоро, и стал думать о том, как бы все это их дело расстроить. Все хитрости брата я теперь понимал и задумал я в злобе моей помешать ему.

Я думал: «Ты, лукавый мальчишка, меня вначале обманывал, а теперь я тебе помешаю счастье твое получить. Подожди!»

Так я думал и скрежетал зубами.

## XV

Воскресный день после литургии. Народ толпой выходит из церкви.

Яни и капитан Лампро, высокий, худой мужчина, шкипер, муж старшей сестры Аргиро, выходят вместе и отдаляются в сторону от других.

Капитан Лампро. — Вчера вечером приехал из Афин Анастасий Пападаки. Он тебя спрашивал: имеет что-то передать тебе от брата твоего Христо. Я звал его сегодня к тебе; только он сказал, что ему теперь некогда; и хотел завтра утром сам к тебе в городе в лавку зайти. — *Осматриваясь кругом.* — А где же Аргиро наша?

Яни. — Она осталась около церкви с другими женщинами; она сейчас придет. Это и лучше, что ее нет; свободно поговорим о делах. Скажи мне, что слышно нового из нашего Крита. Что старшины сбирались и послали свои требования Халиль-паше, это я знаю. А больше ничего еще и по газетам не слышно.

Капитан Аампро, *вздыхая*. — Не хорошо! Мне не нравится все это. Не выгодно. Положим, в Европе дела запутаны... И Австрия с Пруссией на ножах. Однако Наполеон — лисица, бодрствует, и никому неизвестно, что у него на уме...

Яни. — Из Афин советуют, слышно...

Капитан Лампрос *упреком*. — Друже мой! Ты еще молод... Афины! Афины! Не видишь ты, как там падают одно за другим министерства... Несчастный! Несчастный! Пустят они ваших критян в танец, а потом?.. Остров; запрут вас турки и одним голодом замучают восставших. Что делать! Что делать! Видишь ты эти масличные рощи? Видишь это село наше, в котором ты дом теперь имеешь?.. Станут критские масличные деревья и критские села ваши, как эта моя рука, гладкие... Все по-



губят, все пожгут, все разорят и погубят турки... А деньги, где деньги? Деньги нужны...

Я ни. — Хорошо! Ты все отчаиваешься... Имеют же люди сердце! Мы все будем жертвовать... Я что могу, то дам... А Россию забыл?..

Капитан Лампро. — Вот разве Россия... Посмотрим... — *Приближается к дому.*

Капитан Лампро прощается с Яни у дверей.

Аргиро *в эту минуту тоже подходит и, здороваясь с капитаном Лампро, говорит ему:* — Не зайдешь ли к нам покушать немного и кофе выпить?

Капитан Лампро. — Благодарю, Аргиро, право надо домой. Дела есть. *Смеется и показывает на Яни.* Вот и он все против меня говорит; я хочу мира, спокойствия, а он желает войны, кровопролития...

Яни. — Ба! великая разница, — ты грек свободный, а я райя...

Капитан Лампрос *притворным удовольствием осматривает его с головы до ног и качает головой.* — Что тебе турки делают?

Яни. — Турки! одно слово! Вот что они мне сделали!

Капитан Лампро. — Пустые слова! Живешь ты хорошо с этою красоткой... Веселишься с ней... Людей в лавке своей обманываешь, деньги наживаешь... Брат богатый, все мешочки тебе присылает... Ну и будь райя, человеку ты мой добрый... Я тебе говорю: бедный султан что тебе сделал? *смеется*.

Яни. — Ты тоже! Я тебя знаю! Ты первый бунтовщик против султана в сердце своем. Я тебя знаю... Все шутишь...

Капитан Лампро *продолжает в том же тоне*. — Райя! Что ты понял из того, что будешь свободным эллином? Министром тебя сделают? Все-таки в лавочке торговать будешь и с женой сидеть своею...

Аргиро. — Ас кем же ему сидеть, как не со своею женой? С чужой он будет сидеть?

Капитан Лампро, *переменяя вдруг тон, грозно*. — На войну должен молодец идти... С *ожесточением*. Пусть все горит, пусть все пропадает, к дьяволу! Пусть будет стон, и крик и отчаяние!.. На войну! Да! *приподнимает феску*. Видишь, Аргиро, седые волосы эти... Мне пятьдесят семь лет... Ты не считала моих лет, но я считал их верно, дочь моя! И я пой-

ду, и корабль мой сожгу, если нужно, и твою сестру, жену мою, и детей моих брошу... И дом пусть гибнет... А я пойду в Крит... А твой муж будет здесь около тебя красоваться и целовать тебя...

Аргиро *горячо*. — Хорошо! Что ты хвалишься? И Янаки пойдет в Крит сражаться... Ты один, что ли, пойдешь? У тебя одного сердце в груди есть...

Капитан Лампро *притворно*. — Пустяки... Ложь... Не верю... Яни с тобой сам девушкой стал... Все любовь у него на уме... Он уж не тот, что был прежде... И ты егопустишь, я поверю этому?

Аргиро. — Что за беда? Пусть идет на войну.

Капитан Лампрос *видом сомнения*. — Пустись его? Плакать и просить не будешь? Хорошо!.. Помни ты это, Аргиро моя... Помни!.. *Треплет ее по спине, гладит отечески по голове и вздыхает*. Э! Куропатка моя, куропатка!.. Не знаешь ты еще, что такое война!.. Не шутка это, куропатка моя... Ты росла в мирное время и в мирном месте... И не знаешь ты, что за ужас воевать христианам с турками... Я те-

бе говорю. Мне шестнадцать лет уж было, когда наши бились с турками при Караискаки, при Колокотрони и при других... Страшная вещь!.. И не дай тебе Бог милосердый глазками твоими черными и красивенькими такие вещи видеть, как начнут старикам горло разрезывать, как старушкам седые головы разрубать и детей за ноги головками вниз вешать и пополам рассекать их... Вот что такое, свет мой Аргиро, война с турками... Поняла? Отпустишь мужа, теперь я тебя спрашиваю?

Аргиро смеясь. — Жила я жила, ничего такого еще не было, как ты говоришь. Делайте вашу войну, как хотите. Тогда увидим. Напрасно ты только почему-то не хочешь зайти к нам... У нас есть сыр молодой, и черешни, вино старое... Поди к нам, зайди, Лампро!

Капитан Лампро. — Некогда, некогда, в другой раз... *Уходит.*

Аргиро идет в дом и выносит на тарелках черешни, связанные в большую кисть; сыр, хлеб и вино. На дешевых тарелках портрет короля Георгия в национальной одежде.

Яни рассматривает тарелку. — Красивый паликар наш Йоргаки[20]. Хорошо бы, когда

б его на русской принцессе поскорей женили... Дай Бог! Может быть, тогда и мы все лучше будем жить. Первого мальчика, который у них родится, мы назовем Костаки и сделаем его царем в Византии! Это называется «великая идея!»

Аргиро. — Кушай черешни.

Яни начинает есть черешни с сыром и хлебом, запивая вином. По окончании завтрака Аргиро приносит мужу кофе и уголек на медном блюдечке, чтоб он закурил папиросу.

Яни *пьет кофе и курит*. — Вот, например, на войне, кто подаст мне так хорошо кофе и огонек на блюдечке! Несчастье!

Аргиро *спокойно*. — Перестань все об этой политике и о войне! Давно уже я слышу: война, война, восстание, восстание... А никакой войны и никакого восстания все нет. Все это неправда и никогда не будет. Расскажи мне лучше, что с тобой было после того, как ты на брата рассердился за то, что он с Афродитой целоваться стал.

Я ни *возобновляет рассказ свой*. — Да, Аргиро! после того, как я узнал, что брат Афродите больше чем я нравится, взяла меня та-

кая зависть, что я не знаю, как и рассказать тебе! Тоска, скука, смерть моя приходит! В кофейню пойду, злость владеет моею душой; пойду к друзьям, к Антонаки и к Маноли, все хочу им жаловаться на брата Христо, хочу его ругать обманщиком и злодеем... зачем это он ей больше нравится! И зачем я, дурак, клятве тогда на первые сутки верен остался. Мне бы с сестрой Смарагдой согласиться, так как она очень ее жалела, и ночью бы первую увезти ее к отцу! Может быть, отец и отдал бы мне ее за мою честность... А то бы возил ее, возил бы где-нибудь по диким местам и, может быть, она привыкла бы ко мне, когда бы мы были все одни и одни с ней в горах и под деревьями бы сидели одни... И когда начинал я думать о ней и о том, что мы сидели бы с нею долго, долго одни где-нибудь в прохладе, ужасная жалость брала меня, и я вздыхал и плакать хотел.

И досада моя была тогда так велика, что на другой день было воскресенье, и я пошел в церковь к литургии и свечу большую для души моей хотел Панагии поставить и вот подрался тут же с другим молодцом... Этою све-

чой самую (прости мне Господь!) его прибил и свечу сломал пополам. За что, Господь Бог знает за что! За то, что он прежде меня хотел тоже свечу поставить и толкнул меня немного; а я оскорбился. Детские вещи! Однако мы начали спорить и браниться. А поп Иларион выглянул со священного порога[21] и воскликнул: «Стыдно, *бре*, ребята, вам! Стыдно, *бре!* Храм Господень это. Замолчите, безумные!» Мы и замолчали; и хотели нас старшие за это запереть обоих; но я знал, что виноват, и у попа Илариона, когда кончилась литургия, просил при всех прощения и поклонился ему. Он сказал: «Бог тебя простит!»

А она, проклятая, то есть Афродита, повеселела за эти дни! Поет песни, кушает, спит хорошо, с детьми Смарагды играет. По утру рано встанет и к дверям даже выйдет сама и смотрит и с сестрой говорит: «Ничего ваше место теперь, летом; а зимой страшно, я думаю... Вот, говорит, эта большая такая, темная скала пред окнами, что это такое за ужас! Что за скука и за стеснение. Теперь на ней хоть травка зеленеет, а зимой ведь она у вас будет в снегу, эта скала, и все на нее смотреть?»

Сестра ее утешает: «Уедешь! Скоро уедешь к папаки своему; там все городские хорошие вещи увидишь... И сады, и дома хорошие, — все хорошее»...

Раз я захожу на наш двор и вижу, стоит у стенки какая-то наша сельская девушка, задом ко мне, и мою племянницу, маленькую Мариго, поднимает под плечи, чтоб она могла видеть что-то через стенку, и слышу, Мариго говорит: «Теперь вижу!» И вдруг у этой сельской девушки голос Афродиты, и такой нежный, любезный: «Ангельчик мой, Мариго, видишь, видишь теперь; поди, моя душка, я тебя поцелую», отпускает девочку и оборачивается. Боже мой! Это она и есть в сельском платье с толстым фартуком. Улыбается мне и спрашивает еще, демон: «Янаки, вот я сфакиткой стала теперь. Хорошо?» Я отвечаю: «Очень хорошо!», и сам ухожу, ухожу скорей. А это вот как случилось. Платья у Афродиты другого не было, конечно, с собой, а та вся одежда, в которой мы ее привезли, еще дорогой измаралась, и ей стало тяжело в ней. Она сама попросила переодеться по-сельски, и Смарагда побежала мыть ее вещи. И по прав-



де сказать, не знаю, в чем она мне больше нравилась: в городском платье или в этой простой одежде и в платочке на голове.

Она так ободрилась после того, как брат обещал ей послать ее письмо к отцу, что стала даже и с ним шутить: «Христо, спой ту песенку, говорит, в которой все поется: эта смугленькая, эта смугленькая».

А брат ей отвечает с насмешкой: «Крепко я хочу теперь смугленьких! (Потому что она была белокурая, видишь, какая хитрость!) Я хочу о белокурых петъ теперь!» — говорит он ей.

А она поглядит на него вот так, снизу вверх. (Беда моя! ах! Когда бы она на меня так смотрела! Я тогда жаловался.) Поглядит сладко, очень сладко и скажет ему:

— Ну, пой про белокурых. Ты хорошо поешь. А брат поет песенку, — знаешь:

*Ты видел часом поздним  
Вчера в ладью вошла  
Та русая красотка —  
В чужбину отплыла.  
Зачем мне белый парус...  
На что мне та ладья...*

*Нужна мне лишь красотка,  
Что в лодке уплыла...*

— А ты, Янаки, не поешь теперь? Дорогой ты как громко пел; много пел; больше всех не ты ли пел? (Это она у меня спрашивает, понимаешь?)

А я, как зверь: «Не хочу петь!» И уйду.

Она веселилась в той надежде, что через несколько дней получится ответ от отца ее, что он Христо все простит и Христо сам ответит ее домой. Иногда на нее часик-другой найдет тоска, и она говорит Смарагде: «Отец мой, боюсь я, на меня рассердился, он не простит меня теперь... Он скажет: Проклятая девочка! она сама с паликарами, развратная, согласилась и отца связать велела».

Сестра утешала ее. Сестра уж так привыкла к ней, что все хвалила ее и говорила: «Что за ангел! Христос и Панагия! Ангел она, ангел. Если она уедет, как мне будет без нее скучно!» Спрашиваю, наконец, у сестры: «Что же, как она теперь с Христо?» — Сестра смеется: «Хорошо! Все целуются!» — «А письмо к отцу?» — я все спрашиваю.

— Она написала, а Христо спрятал его за

кушак. Верно, ищет, кого послать, а ей говорит, что уже послал.

Ну, думаю, терпение! А где тут терпение! Посидел я на камне; пошел по хозяйству кой-что сделал, оружие свое почистил. Все неприятно! Пошел, наконец, к Антонаки и говорю ему: «Антонаки, Афродита Никифорова согласилась с Христо отцу написать, что Христо ее сам домой отвезет, и чтоб отец на него не жаловался и ничем бы ему не мстил. А сам письма не послал; говорит ей, что вчера послал, а сам положил его за пояс свой и не послал. Обманул ее. Во имя Божие, Антонаки, позволь мне открыть тебе сердце мое. Я сам в Афродиту страх как влюблен теперь. Очень хочу на ней жениться, и пускай бы отец мне и денег не дал за ней и не простил бы нас. А если я на ней не женюсь, я или ножом себя зарежу или отравой отравлюсь! Поэтому я хочу пойти к ней и сказать ей, что брат ее обманывает».

Антонаки на это сказал мне: «Что ты *понял* из этого? Выигрыш не велик! Себя убить грех. А чтоб она влюбилась в тебя оттого, что брата предашь? Кто знает, влюбится ли. Может быть, и не влюбится; а если Христо ей уже по-

правился, а ты скажешь ей: он тебя обманывает. Она скажет: какой злой молодой этот Янаки. Что ты понял из этого? Брат судьбы хорошей лишится, если она рассердится, для примера, так сказать. А сам, что выиграешь? А когда она его очень полюбила, тогда опять что? Тогда они смеяться над тобой оба будут. И интереса своего лишишься; потому что после, когда брата твоего Никифор Акостандудаки простит и много денег ему даст, тогда брат будет на тебя злобу иметь и не даст тебе ничего».

Я рассердился и выбранил его; сказал ему: «Как брат Христо вас всех обещаниями купил! Скажи, сколько он тебе из денег Никифора Акостандудаки обещал уделить? Погодите, анафемский вам час! Он всех вас умнее, хотя у него еще и усов почти нет, а у вас большие усы, а он всех вас обманет».

И ушел я от него в гневе. А он, Антонаки, говорит мне: «Это правда, что Христо очень умен!»

Иду как зверь по улице; смотрю, поп Иларион сидит на камне около церкви и курит и веселый кричит мне: «Яни! Янаки! Иди сюда!»

Добрый мой!»

Подхожу я, целую его руку, сажусь около него. «Что делаешь? Как живешь? Что Афродита у вас? Что брат?»

— Очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо...

И потом я стал сидеть молча, ждать, чтоб он спросил, отчего я не весел. Он не понимает. «Хочешь сигарку?» Я ему: «благодарю, не хочу». «Хочешь, зайдем ко мне, чашку кофе выпьешь?» — «Благодарю, не хочу кофею!» Так я ему все сухо. Наконец он заметил и говорит: «Имеешь какое-нибудь сожаление или печаль?»

Я и начал: «Как же мне не иметь сожаления и печали».

И ему говорю то же, что Антонию. А поп сказал мне на это так:

— Это от врага у тебя. Враг не любит, чтобы братья купно хорошо жили.

— А что брат мой все лжет, — говорю я, — это не от врага...

— Что ему делать! Я еще раз тебе говорю (это поп мне так объяснял), грех уже сделан. Девушка насильно похищена и отец оскорб-

лен. Она, я тебе говорю, неразумна еще. А честь ее, скажут злые люди и у нас, и внизу в городе, где ее честь теперь? Это ясно. Поэтому хорошо он делает, что желает жениться на ней и возратить ей честь в м!ре. Ты знаешь, ястребок злой как схватит горлицу, как начнет ей, бедной, перышки из головки рвать и головку клевать. Отнимешь ты горлицу у него; улетел ястребок, нет его. А горлица уже не та. Она может заболеть и все равно издохнет. Так лучше не отнимать уж ее. Ястребок имеет указание от Бога питаться кровью и мясом. Что делать, хороший мой Янаки! Да! А Христо ястребок первого нумера, и горлицу нежную и голубку белую ты лучше у ястребка так не отнимай.

Христос и Панагия! — думал я, — все они за него. И говорю попу дерзко: «А тебе, поп, брат мой за такие притчи хорошие сколько денег из приданого Афродиты обещал?»

А поп наш очень кротко отвечает: «Конечно, Янаки мой, и попу надо хлеб есть. И за требы брать попу, живущему в М!ру с семьей, закон никакой не запретит. И я, обвенчав их, могу взять с брата твоего деньги». Я же все

сержусь: «Я думаю, что не так, как заобы платят, а за хитрость твою брат тебе, я думаю, лир десять золотых обещал». Поп улыбається и ласково мне отвечает: «Не десять, дитя мое, а двадцать пять он мне обещал за свадьбу, твой брат. Вот какое дело!..»

Вижу, все смеются надо мной, и я просто вздулся от гнева, я, говорю тебе, как дикий зверок стал... Так бы ятаганом всех и начал резать. Таскался я до самой ночи туда-сюда и все не мог успокоиться.

Наконец я решил все ей сказать и вернулся домой.

Я в мыслях моих думал так ей сказать: «Деспосини моя! Прости мне. А я жалею тебя и очень тебя люблю, от всей души моей, и скажу тебе, что брат мой, Христо, тебя обманывает; он письма твоему отцу не посылал ни с кем. А положил это письмо за кушак». Так думал я ей сказать и с этою мыслью дошел до самых дверей. Вхожу я и вижу, она сидит с сестрой и заплетает себе косу; плетет и смеется, и глядит вот так, вниз и в сторонку немножко на свою белокурую косу (а толщиной она была, право, как твоя рука, моя Арги-

ро). Я остановился, и как увидел эту косу ее и как она приятно расчесывала ее и так вот на нее, смеясь, смотрела, разгорелось еще сильнее мое сердце!

— Увы мне! какая она приятная! Погоди живы все, злодеи мои лютые!.. Погодите...

Я еще и слова ей сказать не успел, а она сейчас заговорила: «Янаки, а Янаки! Ты где пропадаешь? Брат твой ищет тебя везде. Он хочет просить тебя, чтобы ты к моему отцу письмо от меня отвез... Мы совсем помирились и очень подружились теперь с твоим братом».

Я стою; ничего не могу отвечать. Понял я, конечно, что друзья уже сказали брату все, что я им говорил. А она оставила гребень и глядит на меня и любезно и приятно и потом говорит: «Добрый мой Яни. Ты паликар молодой и ничего не боишься, я думаю, на этом свете. Брат твой искал, кого послать вниз, и лучше тебя человека и не нашел. И я тоже очень прошу тебя и умоляю, и любить и обождать тебя я буду, как брата милого, душенька ты, очи ты мои, если ты поедешь с этим письмом к отцу. И он, знаешь, богатый человек,



обрадуется и наградит, и угостит тебя, как только ты пожелаешь. И если чего пожелаешь, скажи мне, и я клятву тебе дам, что все, что ты пожелаешь, я у отца тебе выпрошу. Паду в ноги отцу и скажу ему: я, отец, не встану, пока ты не исполнишь всех желаний этого Яни Полудаки, который мой друг и спаситель. Что ты пожелаешь? Мулов хороших; оружия европейского; из одежды что-нибудь дорогое... Или денег больших... Скажи только»...

Встала и подает мне письмо: «Вот письмо, милый мальчик мой... Будь ты счастлив всегда, живи ты долго, будь здоров, чтобы мне всегда на глазки твои веселиться.. Вот это письмо свези отцу моему в Галату секретно».

Я уже не смотрю на нее, а вниз гляжу и молчу; и гнев и стыд во мне кипит, кипит! Ни слова я ей не ответил и письма не взял из рук ее, и вышел вон.

Вышел я за ворота и вижу, что сестра Смагда развешивает и раскладывает на кустики и на стенку белье Афродиты, которое она сама ей вымыла. Около сестры стоят соседки, смеются и глядят на юбки Афродиты и на рубашку ее и говорят:

— Городские вещи! нежные вещи! Посмотри то, посмотри вот это!

Смарагда по своей доброте не сердится и отвечает им на все, что они спрашивают; но я уже был так рассержен, что на всех кидаться хотел, и закричал на этих женщин: «Идите к себе по домам! Что вы здесь удивляетесь и смотрите? Стыдно вам! Вы хозяйки-женщины и должны

дома своим хозяйством заниматься, а не бесчинствовать здесь и смеяться. Идите! Идите!» Так просто я на них кричу, хотя все эти женщины гораздо старше меня были и хороших домохозяев жены и дочери.

Соседки обиделись, ушли и сказали сестре: «Такой безбородый мальчишка так на нас кричит! Что мы сделали вам злого? Разве глаз у нас нет посмотреть!..» Одна же из них и хуже этого сказала: «Хорошо это! Вы с братом привозите себе из города распутных потаскушек всяких; и еще нас оскорбляете. Жени поскорей брата, осел ты, Яни, а то мы ее выгоним отсюда, бесстыдницу, или камнями голову ей проломим! Слышишь ты?»

И очень обиженные все они ушли; а сестра

говорит мне: «Нехорошо ты сделал, Янаки, зачем ты соседок оскорбляешь так. Стыдно. Они из любопытства на белье Афродити-но смотрели только и ничего для нас обидного не сказали. Теперь же вот и тебя изругали, и ее оскорбили, и брата!»

Но я и на нее крикнул: «Пропадите вы все, и ты, и соседки!»

И не знал я, куда бы еще скрыться, чтобы не душили меня ревность и злость. И соседка эта сердитая, и та сказала: «не сам женись, а брата жени скорей».

Все против меня! — думал я. — Никто меня знать не хочет.

## XVI

*Яни продолжает свой рассказ.*

— Наконец я задумал куда-нибудь уехать, так, чтобы никто и не знал куда, и лег спать с вечера в темном и скрытом месте. И еще солнце не вставало, а только я увидел, что верхушечки кой-какие, на которых снег еще с зимы оставался, засветились рассветом, тотчас я встал, вошел в дом, взял все оружие свое, взял денег из своего ящичка. Брат спит

спокойно в углу на полу, и дети спят около него. Смарагды не вижу; она все еще у Афродиты ночевала.

Над головой брата ружье мое висело... Как мне достать его, чтоб его не разбудить?.. Тянулся, тянулся я, однако он проснулся немного испуганный и говорит мне: «Что ты! Что ты!..» А я говорю: «Ничего!.. Спи!..» и вышел. Снарядил лучшего мула и уехал из села. Куда уехал? И сам я сначала не знал куда еду... Ехал вниз и мула подгонял скорей... Чтоб их всех забыть и чтоб увидеть скорее других людей и душу мою с другими людьми успокоить.

Я в дороге уж придумал, куда мне ехать. Есть около самой Канеи село Халепша; оно у моря и место там очень веселое. В этом селе много хороших домов и садов. У английского консула в середине села большой дом с черепичною кровлей; у русского консула тоже свой дом и тоже большой, желтого цвета, у самого моря. И другие консула нанимают там дома на лето. Дома беев турецких есть, и христиане есть не бедные, которые очень чисто одеваются и дома имеют хорошие и лавочки

в городе. От Канеи близко крепость очень хорошо видна из Халеппы. И наша Сфакия видна оттуда... зимой вся в снегу. Место веселое, многолюдное, чистое, хорошее место.

За самым селом гора и за горой уж ничего не видно; только и видны, что камень и трава на горе. По горе, к селу поближе, есть маслины и большие дома беев; тут один большой каменный дом стоит на полгоре, а там другой. Они чаще пустые стоят. Есть там на горе этой один дом больше и выше всех других; он каменный и похож даже на крепость; он очень высок и по углам у него как будто башенки маленькие. Этот дом был тоже турецкий, хозяина звали Ариф-бей. Жил там сторожем один черный арап, с которым я еще прежде имел большую дружбу и знакомство. Его звали Саали и он был очень добрый человек. Жил он наверху, в самой маленькой комнате, и весь дом стоял совсем пустой.

Саали был вдов, и жила с ним только одна дочь его маленькая, черная, такая же, как и он. Эту девочку звали Икбаль, что по-турецки значит *великое счастье*. Так ее назвал отец потому, что очень был рад, когда она у него

родилась.

Саали меня очень хорошо принял и угостил.

Сначала он, правда, немного испугался, когда увидел меня, и сказал: «Как это ты, несчастный, сюда под город приехал? Народ кипит теперь, и вас, сфакиотов, все проклинают за дело Никифора. Не узнал бы Ариф-бей! Он и меня хлеба лишит и тебя предаст. Тебя в тюрьму и будут мучить, чтобы ты все открыл. Никифор везде ходит и подписи людей противу вас собирает. Кричит: „Пытку им надо!“»

Так я узнал, что наше дело стало делом большим и что паше все согласны жаловаться на нас. А мы наверху, в тишине и пустыне, не знали этого. Я подумал так: «Не беда! Я уеду дальше в монастыри Агия-Триада и Агие-Яни и скроюсь, а здесь только отдохну. И буду я отмщен. Предадут, наконец, наши капитаны брата Христо начальству; не захотят ему в угоду всех здешних христиан иметь врагами, а Афродиту у него отнимут, и не придется ему веселиться ею и деньгами ее отца; и еще отвезут вниз и отдадут паше и его, и Антония, и Маноли, и попа Илари-она, и всех

их запрет надолго в тюрьму; а я буду знать это все, и буду свободен, и я буду тогда над ними смеяться, а не они надо мной!»

Когда я сказал арапу, что я пробуду у него неделю и уеду куда-нибудь дальше (а не сказал — куда), он успокоился и обещался не предавать меня. «Бей мой, — сказал он, — очень редко ездит сюда. Ничего. Отдохни». Мы легли спать. Но я не мог заснуть; начну дремать и вдруг проснусь и не знаю, где у меня голова и где ноги; кричу во сне; Икбаль испугалась, плачет и зовет отца: «Отец, отец!.. Боюсь, Янаки этот очень кричит!» Саали мне говорит: «Что ты, бедный, что с тобой?» Я говорю ему: «Ах, Саали мой хороший... Я не могу спать». Саали встал, развел огонь, сварил кофе, и мы с ним стали разговаривать. Разговаривали долго, почти до рассвета. Сначала Саали все спрашивал у меня: «Что с тобой?»

Отчего ты так скучен? Здоров ли ты? Скажи мне правду». Я стыдился сказать ему правду, а только отвечал ему все, что у него много крыс и что они будили меня. Саали тогда перестал у меня спрашивать и начал рассказывать мне разные любопытные вещи. Он был

курьезный человек и знал все, что делается на свете. Знал, кто бывает у русского консула и кто не бывает; кто служит у английского консула и за сколько лир в месяц и кто у австрийского нанимается; и почему английская консульша отпустила служанку свою мальтезу, которую она из Мальты с собою привезла... Кто кого любит и кто кого ревнует в Халеппе и в христианских домах, и в мусульманских. Мы всегда его за это любили и не раз и прежде с братом Христо заходили к нему в гости, и всякий раз он нам открывал какую-нибудь тайну или историю рассказывал. Так и теперь. Сначала он стал говорить о крысах и о том, что один бей турецкий в городе умеет делать для них кушанье с ядом и выводить их; а потом рассказывал что на днях в Канее случилось. Были очень дружны между собою два турчонка. Один был побогаче, а другой победнее. Богатый был сын табачного торговца, а бедный служил в кофейне. Купеческому сынку было семнадцать лет, а кафеджй двадцать. Все, что у них было, они делили и жить друг без друга не могли. Потом поссорились; кафеджй (тот, который был победнее и по-



старше) выбрал того младшего всякими обидными словами и сказал ему: «Я больше знать тебя не хочу!» А тот от огорчения достал яду и отравился; он не мог без этого друга жить. Мать послала за доктором Вафиди; Вафиди пришел и вылечил его, и он теперь жив. Но родные его чуть-чуть было не убили другого турчонка, того, который в кофейне служил. Вафиди и его спас. Кафеджй не знал, что тот отравился и умирает; соскучился без него и пришел мириться. Входит и видит, что он лежит и около него мать и доктор, и все родные. Как только кафеджй вошел, все родные бросились и хотели растерзать его на куски; однако доктор успел его отнять и увел его оттуда.

Такую историю рассказал мне Саали. И когда он кончил, я подумал:

— Вот и моложе меня мальчишка, но отравиться не побоялся, когда его оскорбили. Отравлюсь и я!

Так я задумал и Христа-Бога совсем забыл. Утром, когда Саали собрался за провизией в город, я сказал ему:

— Принеси мне яду сильного для крыс. И я

знаю, как отравлять их; я для них приготовлю кушанье.

Пока Саали уходил в город, я с его дочкой развлекался детскими разговорами; я эту маленькую Икбаль всегда любил; забавно было на нее смотреть: личико у нее было очень черное и блестело так, как вот этот мой башмак, когда его чисто вычистишь; а зубы белые, как жемчужинки ровные... Превеселая была девочка и служить умела в доме как большая. Бей, хозяин Саали, ее тоже любил и подарил ей хорошее платье, полосатое — белое с желтым. Я в нем ее и застал. Я с отцом говорю и слышу, что она мне шепчет: «Янаки, Яни!» — гляжу, она и стыдится так в углу, и ручками полы платья держит и приподнимает их ко мне, то есть: «смотри, какое у меня платье!» Ах, Аргиро, не могу я тебе сказать, как мне стало жалко тогда и девочки этой бедной, чорненькой, и самого себя, и я сказал себе: «надо скорей мне убить себя; все люди у нас надо мной смеются и считают меня теперь глупым: и поп Иларион, и соседки, и товарищи; и брат с Афродитой радуются моей глупости. Я так жить не могу. А

все, что есть со мной теперь денег, отдам, когда буду умирать, этой маленькой Икбаль. Пусть она радуется! Ведь это приданое ей и счастье! И скажет после отец ее: „и в самом деле, Икбаль! Большое *счастье* ей было от этого христианина Янаки..." Пусть меня никто не жалеет; я зато этих бедных людей пожалею в смертный час мой!»

Когда Саали привез из города яду и отдал мне его, я сказал ему:

— Саали! Дай теперь мне воды. Я начну делать кушанье для крыс.

А он смеется:

— Посмотрю я, как ты это будешь делать!

И дочка говорит: «И я, папаки, буду смотреть!»

Я опять ему говорю: «Дай стакан воды». Он подал. Я высыпал яд и говорю ему еще: «Теперь сходи за хворостом, разведи огонь; я буду варить». Он вышел, а я выпил яд при девочке. Она на меня смотрит и говорит: «Пьешь?» Я говорю ей: «Так надо!» Как только я выпил его, зажгло у меня внутри огнем и что со мной начало делаться — я рассказать тебе не могу! Начало меня рвать ужасно и ре-

зять внутри, как ножами, и упал я на пол и стал кататься по полу и старался я не кричать, но не мог удержаться. Девочка заплакала, бежит и кричит отцу: «Папаки! Яни Полудаки умереть хочет!»

Ужаснулся бедный Саали: «Что ты сделал! Что ты сделал!..» Я говорю: «Прощай, Саали... Дай тебе Бог счастье всякое за твою доброту! Прощай, Саали»... И сказал ему еще: «вынь мне из-за пояса: вот тут двадцать золотых. Это для твоей дочери... Прощай, Икбаль, моя душенька!.. Господи, говорю, прости мне»...

Яни останавливается и задумывается, Аргиро начинает плакать.

Яни. — Плачешь?

Аргиро молча плачет.

*Яни тоже молча и задумчиво смотрит на нее; потом говорит с улыбкой:*

— Вот теперь ты, глупенькая, плачешь о прошлом! А если в нашем Крите будет война и я пойду туда, что ты тогда сделаешь? Тогда тебе уж умирать надо, если ты о прошлых вещах так плачешь. *Помолчав еще.* Аргиро, ты бы перестала плакать теперь. Зачем?

Аргиро сквозь слезы. — Мне стало жалко

очень тебя; как ты сказал, что тебя рвало и как ты по полу катался и деньги девочке отдавал... Проклятая эта Афродита! Проклятая ведьма! Чтоб ей душу свою не спас-та!..

Яни, улыбаясь лукаво и самодовольно. — Я у тебя, свет мой небесный Аргиро, спрашиваю вот что: отчего же ты не плакала, когда заходил сюда капитан Лампро и сказал: «Надо скорее восстание в Крите сделать»; отчего же ты, я тебе говорю, об этом прошлом деле плачешь, а того не боишься, что ядовитая оттоманская пуля мне прямо в уста попадет и весь рот мой полон крови будет, и зубы мои все побьет... И я буду на траве лежать мертвый, и люди скажут: «Вот какой молодой за отчизну погиб!» Или возьмут турки-дьяволы и ножом мертвому мне голову отрежут и понесут ее в лагерь свой начальству своему хвастаться... И в турецком войске скажут: «Эта чья головка? Это Янаки Полудаки из Белых Гор паликар хороший!» А между нашими разговор иной будет. Наши христиане спросят: «Это чье тело без головки, так что узнать нельзя? Неизвестно, чье это тело. Турки голову унесли. Должно быть, молодец был. Да про-

стит Бог его душу!..» Так что враги будут знать, где я, а друзья знать не будут... Отчего ты этого не боялась, когда мы с капитаном Лампро говорили, и сказала капитану: «Я пу-щу его, пусть идет на войну!»

Аргиро. — Хорошо! Ты тоже думаешь, что я совсем глупая. Любопытное дело! Чтоб я не понимала, какая разница! Одно дело — отчизна, и совсем другое дело такой грех, за эту женщину злую тебе отравиться... Ах! чтобы никогда глаза мои ее, скверную Афродиту эту, не видали. Я ей глаза сейчас вырву...

Яни, несколько *веселясь ревностью жены*. — А я думаю, очи ты мои Аргиро, напротив того, тебе бы увидеть ее надо. Ты бы успокоилась, потому что она с тех пор много, должно быть, испортилась в лице. И тогда даже она гораздо хуже тебя была... А теперь!.. Где!.. Далеко ей до тебя... Что ж, рассказывать?

Аргиро. — Нет, не хочу больше! Я очень рассердилась теперь.

## XVII

На *следующий* день Яни, возвратившись из города домой, сходит с мула. Аргиро хочет

взять мула, но он, смеясь, говорит ей:

— Подожди; я мула сам уберу. Держи руки.

Аргиро. — Что такое?

Яни достает из-за пояса довольно большой мешочек, полный золотых монет, и кладет ей в руки.

Аргиро с радостью. — Деньги!

Яни все веселый. — Подожди! Постой! достает другой такой же и дает ей.

Аргиро. — Боже мой! Что такое! Все деньги... Хочет бежать с ними в дом.

Яни. — Постой! Держи еще вот это! Подает ей конверт с векселем. Это полегче мешочков; а силы столько, сколько в двух мешочках...

Аргиро как растерянная от радости. — Что мне делать, куда я это все возьму! Постой, я положу деньги на стол. Уходит в дом.

Яни смеется. — Как радуется. Это хорошо, что она так рада! Хозяйка!

Убирает мула и потом идет в дом. Застает Аргиро пред столом, на котором рассыпаны деньги. Она предлагает ему считать их вместе; но Яни, прикрыв их руками, говорит ей: «Не дам тебе считать, пока ты не пообещаешь мне одну вещь».

Аргиро. — Какую?

Яни. — Не брани больше Афродиту бедную. Это ее деньги.

Аргиро. — А! Это от нее?

Яни. — Брат прислал, и письмо пишет мне она сама...

Аргиро *забыв о деньгах*. — Покажи! Что она пишет, как она пишет. Покажи...

Яни *подает ей письмо*. — Тише! Тише! вексель не разорви... Теперь читай...

Аргиро читает *громко*: «Муж мой поручил мне, так как он сам уехал в Афины на месяц по делу, о котором вам скажет наш знакомый господин Анастасий Папада-ки...» Как она красиво пишет, скверная!

Яни. — Опять бранить ее...

Аргиро *отдавая письмо*. — О делах торговых пишет и мне велит кланяться.

Яни. — А ты думала — о любви какой-нибудь? У тебя все женские вещи на уме. А я тебе скажу вот что. Деньги ты теперь оставь считать. Я их в городе счел. Запри их. А к вечеру что-нибудь получше приготовь; этот Анастасий Пападаки придет. Он человек очень хороший. *Садится у дверей дома и заку-*



*ривает папироску.*

Аргиро уносит деньги и возвращается с чашкой кофе, которую ставит на стол около мужа; потом садится сама около него с работой и говорит: — Конечно, я не буду больше бранить Афродиту. Это глупость моя, больше ничего, и грех. Через нее брат твой хорошо торгует и нам присылает деньги. Дай Бог ей жить долго и радоваться на деточек своих! Что ж ты, будешь еще рассказывать об этой истории сегодня? Мне так приятно все это слышать, что я даже сказать тебе не могу!

Яни *смотрит на часы*. — Анастасий Пападаки придет. А пока он не пришел, я могу рассказать. Теперь-то, Аргиро моя, ты должна слушать с радостью о том, как меня вылечили от яду. Саали побежал в Халеппу, хотел на осле в город ехать за доктором; осел нейдет, он на улице осла бросил. Бежит... До города все-таки больше получаса. Я бы умер в это время. Но не пришел мой час. Саали бежит по селу, встретились женщины: «Куда ты, Саали? Что имеешь такое, что бежишь?» А он: «Дистихия! Дистихия! (несчастье, несчастье!) Стой, стой!» Он забыл о своем хлебе и об

Ариф-бее и всем рассказывает, что я у него и что я отравился. Говорят ему люди: «Доктор Вафиди здесь; он приехал из города, ищи его». Саали в одну минуту отыскал Вафиди, и доктор сейчас поспешил ко мне. А я в это время крещусь и вздыхаю и закрываю глаза, — умирать собираюсь; только говорю: «Прости мне, Господи Боже, прости мне!» Тоска, тоска в сердце моем ужасная! Раскрою на минуту глаза и зову девочку: «Дитя мое, дай еще водицы». Она дает и все плачет.

Пришел Вафиди и сейчас мне помог, я даже до сих пор удивляюсь его науке и уму, а больше всего милости Божией, надо так сказать. Как ты думаешь, чего он мне дал? Яичный белок. Я пил при нем и мне легче стало. Приказал он еще, чтобы Саали с ним в город ехал и оттуда мне лекарство прислал. А пока вся Халеппа узнала, что я здесь лежу у Саали и что я отравился. Пришли некоторые женщины и ходили за мной. Бог да хранит их бедных за это! Ни минуты я не был один. «Хочешь того, Янаки? Хочешь этого, Полудаки?» И старики приходили, и молодые паликары халеппские, и священник отец Хрисанф хо-

дил исповедывал меня и говорил: «Съезди после помолись в монастыри Св. Троицы и Св. Яни, когда выздоровеешь». Я скоро веселиться стал, и все люди мне стали приятны. Доктор Вафиди говорит мне: «Что, Янаки, я думаю, ты теперь как второй раз на свет родился?» Правда, что второй раз родился! Я его руку поцеловал и очень низко ему поклонился, и также, как и попу, все ему открыл, из-за чего я принял яд.

Вафиди удивился и говорит:

— Вот молодость! Вот глупость! Не все ли одно, что Афродита, что Катинко, что Мариго?

Потом, когда он увидел, что я стал покойнее и немного покрепче, он стал говорить, что мне надо поскорей уехать отсюда подальше, а то меня схватят, когда узнают в городе, что я здесь. И рассказал мне то же, что и Саали, что все горожане за наши дела у Никифора в доме против нас разгневаны и в Порте жалуются, говоря: «Это не жизнь, если сфакиотов не накажут!»

Я хотел ехать на другое же утро в монастыри и потом еще дальше; но не позволил мне Бог исполнить этого.

Скоро узнали многие и в городе, что я у Саали живу, и о болезни моей и обо всем этом стали много разговаривать. Никифор Акостандудаки пошел к Ариф-бею, к хозяину Саали, и говорит ему:

— Что же это у вас, бей-эффенди мой, разбойничий притон Саали в доме держит? А вы не знаете? Там у вас один из погубителей дочери моей живет.

Бей на лошадь и приезжает. Я его никогда не видал и не узнаю, кто это. Вижу, пришел человек старый, сердитый, лицо красное как свекла и в серебряных очках (этот бей был очень зол и фанатик, в 58 году при Вели-паше и при Маврогенни[22] он возбуждал турок простых против консулов, и Сами-паша его долго в тюрьме продержал за дерзости, которые он французскому консулу сделал). Так вот я сижу и вижу — входит сердитый старик этот. Я встаю и кланяюсь, а не знаю кто. Я еще слаб был тогда, однако кланяюсь. Саали не было в комнате.

А бей как закричит на меня: «Гяур разбойник! вор! собака! Как ты смеешь тут быть, в моем доме! Саали! Саали, собачий сын... Где

ты?» Саали пришел и упал ему в ноги: «Прости, мой господин, я пожалел его!» А бей: «Хорошо!» — ударил Саали в лицо раз, ударил другой. А я пошел и говорю (уж догадался я, что это хозяин): «Бей-эффенди, за что его бить, накажи меня; я виноват, а он прав». Тут бей обернулся ко мне и задрожал весь, и вскрикнул на меня: «Ты бастардико![23] будешь указывать мне тут? Ты гяур, собака, ты мальчишка гадкий». И меня, и меня по лицу. А я еще был слаб и со второго удара упал на пол. Я думаю: «Что делать! Не Сфакия наша вольная тут! И ножа моего теперь нет за поясом, и все оружие далеко от меня, на стенке висит! Терпение!»

Бедная малютка арапочка одна только не испугалась Ариф-бея; она схватила его за шальвары и стала просить:

— Эффенди! не бей больше Янаки моего! Эффенди! буду я на твои глазки радоваться — не бей его больше!

Старик пожалел девочку и оставил меня, но сказал Саали так:

— Я тебе, старая собака, на этот раз, для души твоей девочки и чтоб она ела мой хлеб,

это прощаю. А надо бы избить тебя крепко и прогнать!

После этого Ариф-бей приказал Саали взять мое оружие, которое висело на стене, посадить меня на осла и везти в город. Он хотел, чтоб я ехал на осле со связанными руками; Икбаль опять начала просить его: «Не вяжи его, не вяжи!» И я сказал ему: «Не вяжите меня. Я болен и куда я от вас двоих убегу!»

Но бей на это не согласился; руки мне связали, и мы поехали в город. Я ехал верхом на осле; Саали, вооруженный моим оружием, шел около меня, а бей сам ехал за нами на коне шагом.

Встречные люди кланялись бею, и с иными он останавливался и разговаривал, хвастаясь, что поймал меня.

Одним он говорил так:

— Вот везу в Порту одного из этих злодеев, которые у Никифора дочь увезли. Вот беспорядок у нас в Крите какой!

А другим говорил:

— Это я к паше везу его; он из тех сфакиотов, которые девиц из домов похищают. Хорошо бы повесить его для страха другим. Сего-

дня они из христианского дома девушку увезли; а что же они завтра в нашем доме готовы сделать!

Почти все, и христиане, и турки, с которыми Ариф-бей говорил, хвалили его и льстили ему: «Так, бей-эффенди мой! так их надо! будь жив и здоров!»

И я думал опять, что я как сирота на этом свете и что меня ни у нас наверху, ни здесь внизу никто, даже вот... никто — кроме маленькой Икбаль не жалеет!.. Маленькое дитя, как оно меня спасет и утешит?

Под самым городом Ариф-бей поздоровался еще и заговорил с одним старым турком, Ахмедом, который продавал баранки. Этот старик Ахмед всегда почти сидел или лежал у дороги под стенкой и около него лоток с баранками. Много он ходить не любил. Ноги у него были длинные-предлинные, сухие, босые и черные. И он вытягивал их лежа на самую дорогу, так что народ должен был иногда обходить их... Мне кажется, он для кареты самого паши не отодвинул бы их. Один только этот Ахмед Ариф-бея не похвалил за то, что он меня поймал.

Бей поздоровался с ним, и старик так любопытствовал посмотреть на меня, что даже встал, подошел к нам и спросил:

— Это кто такой и куда ты его везешь? Ариф-бей опять свое хвастовство.

— Это из тех сфакиотов... Я его так, я его этак!.. Но Ахмеду эта история не понравилась, и он с пренебрежением сказал:

— Удивляюсь я! Какая тебе нужда — это Никифорове дело!.. Один неверный у другого неверного дочь силой взял! Не все ли нам с тобой равно, что свинья ест собаку или что собака ест свинью!

И ушел от нас.

Так мы приехали в город; бей отдал меня под присмотр офицеру в караульню, а сам поехал к паше. Саали остался со мной в караульне; ему все еще было жалко меня оставить и он поэтому не уходил от меня долго. Потом собрался уходить. Говорит мне: «Прощай, Янаки!»

Я сказал ему тоже «прощай» и просил его известить моего благодетеля доктора Вафиди, что меня схватили, и Саали обещал тотчас зайти к нему.



Тогда я вдруг вспомнил, что я все деньги мои отдал маленькой Икбаль и что у меня теперь ничего с собою нет, и говорю Саали: «Саали, у тебя мои деньги, которые я твоей дочери завещал, если умру. Теперь, когда помиловал меня Бог, они мне нужны...» Деньги были с ним. Он достал их и отвечает:

— Конечно, тебя Бог помиловал... а не грех тебе будет их назад у моей дочки взять?..

Мне стало жалко и денег, и девочки и его самого... И я не знал, что мне делать... Саали вынул деньги, и лицо его стало очень печально. Я взял их и держал их в руке. Потом подумал: «Как же я буду без денег в тюрьме? с деньгами везде облегчение». А с другой стороны, душевное дело не хотелось испортить. Поэтому я оставил у Саали только две лиры из двадцати и сказал ему: «Знаешь — тюрьма! А ты моли Бога, чтоб я был здоров и чтобы меня скорей освободили. Тогда я дочке твоей еще больше дам».

*Аргиро перебивая.* — А после дал?

Я ни, *вздыхая и потупляя глаза.* — Забыл!., не дал... забыл, что делать!., *еще раз вздыхает.* Надо бы это сделать... грех... ведь грех, Арги-

ро?..

Аригиро *пожимает плечами с недоумением*. — Мне кажется, как будто грех. Как знаешь...

Яни. — Вот теперь мы получили много денег, слава Богу, отчего же не послать, как ты думаешь? Я пошлю.

Аргиро, *изменяясь немного в лице*. — Пошли, когда это для души обещано! Что делать! *поднимает глаза печально к небу и качает головой*. Всесвятая Госпожа моя Богородица! что это, как в этой человеческой жизни все затруднения! Правду, правду говорил всегда мой отец: «Суетный этот свет, суетный!» Много затруднений! Э! пусть будет так! Говори, что было после этого с тобою?

## XVIII

Яни *продолжает*. — Сидел я в караульне долго; наконец пришли за мной аскеры и чауш от паши и повели меня в Порту.

Чауш, который вел меня, был сердитый. Дорогой он спросил меня: «Как это ты сделал, что *украл* из дома девушку?» И когда я сказал ему, что об этом я буду отвечать в Порте и

просил его оставить меня в покое, то он рассердился, выбранил меня и сказал: «Погоди, я тебе покажу сейчас одну хорошую вещь! Она как раз для тебя, эта вещь».

И точно, только что мы поворотили в одну улицу, я увидел вдруг повешенного человека. Он был повешен просто на навесе одной лавчонки около угла, над самую дорожку, и качался. Покачнулся он немного еще, и я увидел, что это чорный арап! Ужаснулся я, и сердце мое задрожало; мне вдруг показалось, будто это бедный Саали и что пока я сидел в караульне его уже повесили за то, что он жалел меня и помогал мне. И я не знал, что подумать мне и чего ожидать для самого себя! Но тотчас же я понял, что это не Саали, а совсем другой арап. У Саали была небольшая седая борода, а у этого, у повешенного, не было бороды, и цветом он был не так чорен, как Саали.

Народу вокруг было немного. Человека два аскеров караулили мертвого, дети какие-то смотрели и смеялись. Лавчонники сидели в лавках. Другие люди проходили мимо.

Чауш остановился на минуту и начал раз-

говаривать с другими аскерами. Я стоял. В это время подошло ко мне несколько христиан и один из них спросил:

— Ты ли это Яни Полудаки сфакиот? Не ты ли взят по делу Никифора?

Я сказал: «да».

Тогда один старый лавочник, очень чисто одетый, закричал на меня: «Негодяй! Хорошо сделали, что поймали тебя! У меня тоже три дочери есть... у всякого человека есть семья. Вот с тобой что надо сделать за это!»

И он тоже указал на повешенного арапа. Я молчал; что мне было говорить!

После этого люди стали разговаривать между собою, и старый лавочник спросил у другого человека: «Кажется,

этот арап не здешний? Не тот ли это, из города Ираклион, который старую турчанку убил?» А другой человек отвечал:

— Кажется, он оттуда... Я не знаю, за что его повесили. Его три года все судили и все не кончали дело, а новый паша кончил.

На это старик сказал:

— Пусть живет и здравствует наш Халиль-паша. Он такой! Любит кончать дела.

Я все молчал и думал: «Видно, Бог спас меня от яда по милосердию Своему, чтобы мне не от своей руки, а от турецкого правительства умереть и чтобы не в смертном грехе застал меня последний час».

Этим я старался укрепить себе сердце; но все-таки было мне очень страшно.

Когда чауш кончил свой разговор с другим аскером, то оборотился ко мне и сказал с насмешкой, указывая еще раз на арапа:

— Видел ты это? Говори, собака, видел? Я отвечаю: вижу.

— Гляди хорошо! С тобою следует это сделать!

Так сказал чауш, а старый лавочник очень обрадовался и закричал чаушу:

— Прекрасно ты говоришь, ага мой, прекрасно. Дай Бог тебе жить!

Привели меня после этого в конак паши и оставили в больших сенях. Народу в этих сенях было довольно много; каждый пришел по делу своему или по должности; одни сидели на полу с прошениями в руках; другие стояли у стенок; иные ходили туда и сюда; солдаты, евреи, турки, греки, женщины... всякий на-

род; и никому не было до меня нужды; всякий о себе думал. И я сел в углу на пол и стал тоже о себе думать.

«Неужели это в самом деле меня осудят на смерть? А брат спасется и возьмет богатую невесту, и будет жить хорошо... И что же я сделал, Боже мой, чтобы мне во всем был такой дурной час и такое несчастье?»

И я смотрел то на улицу, не идет ли Вафиди, чтобы спасти меня, то на все двери по очереди — не шевелятся ли на них занавески и не выходит ли кто-нибудь звать меня к паше. Думал я также, что Саали рассердился на меня за деньги и к доктору не ходил. И я каялся, что мало оставил ему денег.

Законов я тогда хорошо не знал и не понимал, могут ли меня повесить за похищение Афродиты или нет... И какие законы у турок!.. Об этих законах я даже и не думал тогда; мне уже после доктор Вафиди объяснил, что за такое дело, как Никифорово, никто не повесит, и смеялся над моею неопытностью и страхом... А тогда почему я знал?.. И чауш, и бей, и старый лавочник, все они знали дело лучше моего, все годами были старше и все пугали

меня... И я им верил и думал: «Вот паша и мусульман стал без пощады вешать... Он только сначала притворился смирным. Что же ему стоит убить меня в угоду городским христианам, как при Вели-паше убили без суда на лестнице этого самого конака молоденького грека в угоду туркам».

Вафиди долго не шел. Я утомился, перестал от отчаяния думать и начал уже дремать в углу, как вдруг на одной двери поднялась занавеска и оттуда выскочил главный драгоман паши, старичок Михалаки Узун-Тома.

Я его видал еще прежде не раз. Капитан Коста Ам-пелас ходил к нему в дом по делам и своим собственным, и сфакиотским, когда приезжал с нами в город. Он давно уже был драгоманом в Крите и служил еще при прежних пашах. Он был фанариот, из хорошего и старого константинопольского рода. Человек очень воспитанный и добрый. У нас все почти его уважали и были довольны им. Только он был очень боязлив и очень смешно было смотреть, как он хотел всем на свете людям угодить. Ко всем все с комплиментами и лестью. Сам маленький, худенький, брови се-

дые, пребольшие и прегустые! Туда и сюда все припрыгивает, все кланяется, все руку протягивает, и большим людям, и маленьким, все равно! Всем он «слуга», и по-турецки, и по-гречески, и по-французски. «Ваш слуга!» направо, «ваш слуга!» налево! «Дулос-сас, эффендим, дулос-сас». И по-французски так протяжно: «Serviteu-eu-eur!» Я по-французски вот и не знаю, а это слово мы все запомнили: «serviteu-eu-eur!»

Подбежал ко мне Узун-Тома и спрашивает:

— Ведь это вы Яни Полудаки? Кажется, я вас видел с капитаном Костой прежде еще?

Я встал, поклонился и отвечал почтительно:

— Да, это я, господин мой!

Узун-Тома вдруг отскакивает от меня, поднял руки кверху и ужаснулся:

— Боже мой! Боже! возможно ли это! Из почтенного дома похитить девушку силой! Отца вязать! Ужас! Ужас!

Я молчу. Он опять:

— Такой молодой! Дитя почти! Это ужас! Ужас!

Я опять, конечно, ничего ему на это не ска-



зал; он помолчал, посмотрел на меня и так и этак, как будто пожалел меня и говорит:

— Вы знаете, что подвергнетесь за это очень строгому наказанию?

А я отвечаю:

— Как будет угодно прежде всего Богу, а потом господину нашему Халиль-паше; я же надеюсь на Бога и на добрых людей.

Узун-Тома на это говорит:

— Что тут могут хорошие люди!

В это самое время, я вижу, входит Вафиди и прямо идет ко мне. Я очень обрадовался и смотрел на него как маленькое дитя на отца своего.

Узун-Тома сейчас прыгнул к нему: «Serviteu-eu-eur!» Они отошли от меня и стали тихо шептать что-то друг Другу.

Вижу я, они заспорили. То Вафиди топнет ногой и рукой махнет и опять говорит ему тихо; то Узун-Тома от

доктора отскочит и опять к нему подскочит, и руки кверху поднимет, и, слышу я, опять он говорит: «ужас!»

Я жду, что будет! Узун-Тома ушел. Вафиди подошел ко мне и сказал мне так:

— Тебя позовут скоро к самому паше; смотри, не будь дураком пред ним. Имей обращение почтительное и умное; а главное, говори ему всю правду; что у тебя на сердце есть, то и говори. Ему это понравится и он пожалеет тебя. Он человек тонкий, и ты его ничем не обманешь, а веди себя пред ним как доброе дитя... Это я, Вафиди, твой друг, тебе, несчастный, говорю!..

Я благодарил доктора, но сказал ему так:

— Господин Вафиди! Вы, конечно, благодетель и жизни моей спаситель, и я должен теперь как раб повиноваться вам; только как же я буду все паше рассказывать, если он меня о брате и о товарищах будет спрашивать? Разве я брату и своим сфакиотам не буду предателем?

— Что им там наверху могут сделать! — говорит доктор. — Они далеко! Попробуй твоего брата сюда привести! Не шутка! Ты по глупости сам отдался. Так ты и думай только о себе, человеке мой!.. И какое же предательство, когда и Никифор сам, и Василий, слуга его, и служанка, все вас знают и видели, кто их вязал и кто что делал!.. Говори у паши все, что

тебе Бог на сердце положит... Слушай ты меня, море!

Однако я еще думал и так и иначе, и говорю доктору довольно громко:

— Как же я это турку буду все открыто про своих говорить?

Я сказал Это доктору и сам испугался. У Вафиди вдруг побледнело лицо; он начал оглядываться и потом стал смотреть на меня как зверь, молча поскрежетал зубами и сказал мне тихонько: «осел! варвар! фанатик! осел!» и, озираясь еще на меня с великим гневом, оставил меня одного.

Я понял, что сказал непристойную вещь, и где же — в самой Порте! Положим, около нас никого близко не было и сени были очень велики, но все-таки я очень глупо назвал пашу так грубо: турок!

Но что делать! И от болезни, и от печали, и от боязни я совсем стал глупый.

Только что отошел от меня Вафиди, как пришел Узун-Тома звать меня к самому паше. С нами вошел еще один вооруженный заптие. Мы вошли и стали у дверей.

Узун-Тома тоже не двигался, стоял согнув-

шись, сложа руки наперед, и ожидал приказаний.

Паша сидел в креслах около длинного дивана. На диване около него было много бумаг, а пред ним стояло несколько человек чиновников и писцов.

Паша прикладывал печать к каждой бумаге и отдавал писцам и чиновникам. Они кланялись и уходили.

Наконец паша обернулся в нашу сторону и спросил у Михалаки Узун-Тома:

— Это он самый?

Узун-Тома сказал, что это я тот самый.

Паша не показал ничего, ни даже гнева, а стал опять смотреть и печатать бумаги. Потом он махнул рукой тем писцам, которые еще стояли тут, чтоб они отошли в сторону, и спросил у меня:

— Тебя как зовут? Я говорю:

— Яни Полудаки, сфакиот. Паша тогда сказал:

— Да! Я тебя где-то видал. Ты это увез дочь у Ни-кифора Акостандудаки?

Я отвечаю:

— Мы, паша-эффенди мой, увезли.

— Кто мы?

Я, в намерении всю правду говорить ему по совету доктора, отвечаю так:

— Я с братом моим Христо и с товарищами.

Паша замолчал и опять начал печатать бумаги и что-то говорить по-турецки писарям. Потом, отпустив писарей, еще спросил меня:

— Зачем же ты уехал оттуда? Разве ты не для себя ее крал?

Я говорю:

— Для брата больше, для старшего.

— А ее не перевенчали еще с братом? Я отвечаю:

— При мне не венчали, а без меня что было, не знаю,

— Отчего же ее не венчали?

— Она не хотела.

Паша помолчал и спросил внимательно:

— Так ты говоришь, она не хотела? Почему же она не хотела? разве она не была с вами в соглашении?

Как только он спросил это так особенно и посмотрел на меня внимательно, я забыл весь гнев мой и всю зависть мою и сейчас

вспомнил только, что Христе мне брат, а это турок предо мной. Я подумал тотчас, как бы брату вреда больше не сделать, и отвечаю не совсем ложь и не совсем правду:

— Не знаю этого; со мной и с другими товарищами она не была в соглашении, а с братом моим, может быть, и в самом деле была в тайном соглашении. Они говорили не раз прежде между собою. Я ничего не знаю. Может быть, они и согласились.

Я очень стыдился и боялся, чтобы паша не стал меня об отраве расспрашивать; однако он не спросил об ней, слава Богу, ничего, а обернулся к Михалаки Узун-Тому и приказал ему:

— Хорошо! велите пока отвести его в тюрьму. Тогда Узун-Тома подбежал к паше, начал кланяться

ему и приседать низко, и руку к феске прикладывать, и улыбался, и говорил на турецком языке жалобным голосом.

Так как я, ты знаешь, по-турецки не говорю, то и понял только немного слов... Слышал я «джуджук» (дитя) и потом «Вафиди, Вафиди!» И потом начинал Узун-Тома шептать так

тихо паше, что ничего уже не было слышно. Паша все не гневался ничуть, но подставлял ему ухо и раз

даже засмеялся громко чему-то. А Узун-Тома отскочил от него тогда от радости.

После этого паша сказал громко:

— Хорошо. Я велю. Уведите его.

Мы вышли в сени с заптие, и я не знал, радоваться мне или еще нет.

Доктор Вафиди уже ждал меня за дверями и спросил:

— Э? Что у вас было?

Гнев его прошел. Но я сам не понимал еще, как паша решил мое дело. Михалаки еще не выходил от него; поэтому я сказал доктору:

— Не знаю я еще ничего; а мне кажется, что г. Михалаки Узун-Тома просил за меня. Паша не был сердит и говорил со мной очень благородно.

Доктор отвел меня после этого еще подальше в сторону и начал усовещевать меня за мою грубость.

— Как же это можно (так он мне сказал потихоньку) генерал-губернатора и где же? здесь называть *турок!* Турок... хотя бы и ти-

хо... Мальчик ты умный, но этот анафемский и ослиный фанатизм, который вас одушевляет, портит все дела на острове... Ты видишь, я знал, что все кончится для тебя хорошо. Эти ржавые, старинные идеи вашего молодечества надо бросить.

Я тут подумал про себя: «Что же он сам, Вафиди, хвалил наше молодечество, когда мы не побоялись украсть со стола список у такого сильного человека, как мсьё Аламбер!» Но, конечно, ничего ему об этом не сказал.

В это самое время, пока мы с доктором говорили, вдруг началась в сенях большая суета.

Выскочил от паши Михалаки, побежал в другую дверь; оттуда опять назад к паше; прошел мимо нас совсем бледный и не глядел даже на нас с доктором.

Вафиди к нему:

— Пойдите, пойдите, кир-Михалаки! Куда! и не слышит.

Выбежал другой человек, кричит:

— Али-бея, Али-бея зовите!..

Али-беи, офицер, побежал к паше, побыл немного у него, опять выбежал на лестницу,



что-то сказал и назад опять. Как только он сказал что-то на лестнице, так сейчас забил на улице барабан и заиграла музыка... Потом стала музыка удаляться, как будто уходил полк... Люди побежали смотреть в окно. Мы с Вафиди слушали, и опять я начал чего-то бояться. Вафиди говорит:

— Что такое это? Куда это полк идет? Не понимаю! Тут вдруг аскер поднял занавеску, и вышел сам Халиль-паша. На нем была надежда кривая сабля на золотом поясе, и он придерживал ее рукой. Все замолкло, утихло; кто сидел на полу, вскочил... Вафиди сейчас согнулся немного и сложил наперед руки, и я сделал так же.

— Али-беи! — сказал паша. Али-беи подбежал.

Паша приказал ему что-то, и тот, поклонившись, хотел идти, но паша ему вслед сказал громко:

— Скорей! скорей! Сейчас!..

Али-беи пошел к лестнице, а паша осмотрел всех кругом и позвал рукой нас с Вафиди. Мы подошли и стали перед ним.

Тут одна женщина, христианка, в черной

одежде, бросилась к нему из толпы с бумагой в руке; упала на колени и закричала жалобно:

— Эффенди! Эффенди мой! Но паша сказал ей строго:

— Подожди немного, встань... И обернулся ко мне.

— Вот, — сказал он мне, — доктор Вафиди желает тебя взять на поруки к себе в дом. По молодости твоей и по болезни я это позволяю. Иди. Но помни, что если ты убежишь куда-нибудь, то благодетель твой, доктор Вафиди, за тебя, как поручитель, будет наказан. Иди!

Вафиди сделал мне знак глазами, показал глазами на полу паша... Я бросился и поцеловал его полу. Тогда паша взял у женщины бумагу, положил ее себе в карман и сказал:

— Успокойся... я твое дело знаю!

И ушел в другую дверь.

Я радовался своей свободе, глядел на Вафиди и мне хотелось плакать, так мне было приятно. А Вафиди ходил по сеням и все спрашивал у людей: «Что такое? куда паша едет? Куда пошло войско?..» Люди говорили: «Кто зна-

ет!» Он ходил туда-сюда, и я за ним молча ходил, как собачка.

Наконец пришел опять Михалаки, бледный и как будто испуганный, подошел к нам и прямо мне шепчет, а не доктору.

— Вот вы с братом каких дел наделали... паша с войском идет в Сфакию... С утра один батальон ушел... а теперь остальное войско ушло, и мы сейчас едем... и я должен бросить жену и детей и ехать в это дикое страшное место... Это ужас!

Мы с Вафиди оба не знали, что на это сказать, и молчали... Я верить не хотел, что это правда... Когда же паша ходил в Сфакию с войском и среди мирного времени, без всякого восстания и войны!..

Вафиди наконец сказал мне:

— Что делать, пойдем, Янаки, домой...

И мы пошли, и всю дорогу ничего не говорили.

Как пришел я в дом к доктору, как только поздоровался с докторшей, так прислонился к стене и начал горько стонать и плакать о несчастьи моей родины...

Докторша и доктор старались утешить ме-

ня. Доктор говорил:

— Сфакиоты не приготовлены. Никто не мог ожидать, что паша туда с войском пойдет и потому защищаться оружием они не будут и не будет пролития крови. Ваши капитаны покорятся и заплатят подати, как и прочие люди.

А докторша говорит:

— Не бойся, Янаки, Халиль-паша человек не жестокий. Он у вас никого убивать не будет. А только брата твоего схватят и Афродиту у него отнимут и отдадут отцу; а его в цепях в тюрьму запрут за это. И будет это ему по заслугам! Он вас всех запутал в это худое дело. Я думаю, надо бы его помучить немного за это в тюрьме; поставить его в тесный и темный шкаф в самых тяжелых цепях, чтоб он ложиться спать не мог, и жаждой помучить его, или что-нибудь горячее ему привязывать под мышки... Ты, Янаки мой бедный, я думаю, будешь рад, что Афродита никому не достанется, если она тебя так огорчила, что ты даже через нее отравился...

Но я на все эти утешения отвечал одно:

— Что мне брат теперь и что мне Афроди-

та! Не прежде, а теперь мне, окаянному и жалкому, нужно бы отравиться. Я плачу о родине нашей, которой мы сделали столько вреда!

И долго я плакал так и убивался, и доктор с докторшей долго не могли утешить меня.

Дом Вафиди был на большой улице, и скоро мимо нас проехал сам паша на коне и с саблей на боку. За ним вели хорошего оседланного мула для сфакиотских дорог; ехали с ним арнауты вооруженные, в белых юбках, и небольшой отряд кавалерии. Ехал на муле и Михалаки Узун-Тома, согнувшись и вытянувшись, все такой же бледный и печальный. Он даже не посмотрел на окошко доктора, — так был испуган, что ему надо в Сфакию ехать.

Доктор с женой смеялись, глядя на него; но я уже не мог тогда ничему в свете смеяться!.. Такой дурной был для меня этот день, такой черный день!.. Никогда в жизни моей я этот день не забуду!

## XIX

После этого я прожил в доме доктора несколько дней, все ожидая вестей из наших

гор. В здоровье я поправился, но все было мне скучно, и я никого не хотел видеть.

Вафиди и докторша все еще боялись, чтоб я не убил себя опять; доктор свои лекарства запирали в шкапу от меня; а докторша все оружие, которое у мужа в доме

было, куда-то спрятала. Докторша была очень добрая женщина и жалела меня как мать. Она, увидав, что у меня только с собой одна рубашка, послала купить для меня еще три рубашки и за одеждой моею смотрела, и разговорами приятными старалась меня развеселить. Шутила о невестах:

— Пстой, Янаки, я тебе невесту нашла! Имею в виду одну прекрасную. Что Афродита!., маленькая и бледная! Я тебе найду вот какую! кусок!., жасмин!., голубочка! С ума ты сойдешь, когда ты увидишь ее.

Так шутила докторша, но меня ничто это не веселило, и я не хотел никого видеть. Когда к Вафиди приходили больные или друзья, я уходил в дальнюю комнату и там сидел один. Я желал только одного — знать, что делается у нас наверху и еще, скажу тебе, я очень часто вспоминал о Никифоре и жалел

его. Я все вспоминал, как я вязал ему руки и рот. Как этот сильный и высокий человек испугался меня, мальчишки, и как он смиренно и жалобно тогда сказал: «Вяжи, вяжи меня, Янаки! Только мою бедную Афродиту не бесчестите, прошу вас!»

Вот, думал я, где мой грех! Вот он где! Оттуда все мое горе и все обиды!.. Когда бы этот человек простил мне!..

Никифор был даже один раз в доме у Вафиди в эти дни, но я узнал, что он приходил ссориться и укорять доктора, зачем он взял меня на поруки и освободил из тюрьмы; и говорил ему так: «Ты пристанодержатель разбойников!» Видев его такую на меня злобу, я показаться ему не смел.

Из Сфакии все эти дни не было никаких известий; наконец приехал оттуда в Канею один сосед наш, женатый человек, и жена его с сестрой Смарагдой имела большую дружбу.

Я ему очень обрадовался, и он рассказал мне, что было без меня в нашем доме.

Как только я уехал, пришло к капитану Ампеласу письмо от Никифора. Акостандудакки писал ему: «Это неправда, чтобы дочь моя

согласилась с этими негодяями».

И всячески он поносил и капитана, стыдил и укорял. С нарочным человеком послал из выкупа, как задаток 40 000 пиастров, все золотыми лирами, обещал клятвенно гораздо больше, если нужно, и просил капитана во имя Божие и в знак старой дружбы освободить Афродиту из наших рук, и признавался в письме, что на распоряжение начальства турецкого он ничуть не надеется. «Куда им из Сфакии дочь мою достать!»

— Вот (говорил мне этот сосед), вооружилось несколько человек и пошли в ваш дом с капитаном Коста. Капитан говорит сестре твоей Смарагде: «Вызови брата». А брат все с Афродитой затворившись сидит. Как ты уехал, так больше у них с девушкой дружбы стало (то есть у Христо). Посланный от Никифора с деньгами тоже сам с ними пришел. Когда Смарагда вошла и сказала брату об этом, Христо стал бледный совсем. Товарищей тут нет; он один!.. Что делать? Однако он решился и при сестре схватил Афродиту за руку и говорит ей: «Слушай ты, Афродита! Я знаешь кто! Я Христо Полудаки, разбойник — вот кто



я! Я живой не отдамся и тебя убью, если ты сама не откажешься с ними от меня уйти. Скажи им так: Вот вам Христос, что меня отцу моему отвезет сам Христо и больше никто! А я денег не возьму теперь отцовских: я сказал, что я *тебя* хочу, и если уж я тебе дал слово, что я тебе никакого зла делать не буду и сам отцу отвезу, так и ты меня несчастного не стыди и не позорь перед людьми...» И за пистолет берется.

Афродита говорит: «Милый мой, я все сделаю по-твоему, только не убивай ты ни меня, ни себя и ни в кого не стреляй!..» Брат твой согласился, и позвали всех и Никифорова человека в ту комнату, где Христо с Афродитой были вместе. Говорили, говорили, часа три кричали и спорили. Христо стоит около нее с оружием в руках и кричит: «Не бесчестите меня, оставьте! Это ее дело и мое. Я увез, я отвезу отцу, когда она прикажет». А она тоже: «Нет, уж лучше оставьте нас с ним, мы сами к отцу поедем». И посланному отцовскому также сказала: «Оставь нас, мы сами приедем, и папаки моему доброму скажи, чтоб он мне простил. Деньги же Христо теперь не хочет».

Капитан сказал: «Смотри, Христо, мы и тебя свяжем сейчас и ее силой возьмем». Но Афродита упала ему в ноги и просила оставить Христо. Все удивились и ушли. Человек Ники-фора с деньгами уехал; а на другое утро, только солнце взошло, слышим, поп Иларион уже венчать их пошел. Вот это дела!..

Когда сосед мне сказал это, мне опять стало очень больно и обидно, и я спросил: «Как же случилось это так, что Афродита вдруг согласилась венчаться?» Сосед стал смеяться и говорит:

— Сестра ваша Смарагда жене моей все рассказала. Что ж! Все вместе и вместе целый день... Одни и одни с девушкой целую почти неделю... Надо думать, что он ей давно нравился, только она, или от гордости какой-нибудь, или противу воли отца, венчаться не хотела. А когда он понемножку уговорил ее стать его возлюбленной... Что ж ей было делать? Она и сама тогда сказала: «Что ж это? Надо за священником уж послать...» Сестра вошла к ней в одно утро (потому что уж три последние дня сестра твоя не спала с ней вместе; Христо уговорил ее не ходить туда, да и

Афродита перестала бояться). Сестра твоя входит к ней поутру и говорит: «Доброе утро, Афродита моя, что поделываешь?» А та ей: «Что ж мне делать! Я думаю, надо за священником посылать скорее!.. 1 вой брат заколдовал меня, и теперь мне уж, Смарагда, придется просить его, чтоб он взял меня в жены и не обманул бы меня и не сказал бы мне: ты бесчестная теперь; я на тебе не женюсь». И стала опять плакать. А то все была довольно веселая все эти дни. А Христо вошел и обрадовался.

— Бегу, бегу сейчас за попом, госпожа моя, и твои глазки целую и ручки за честь, которую ты мне делаешь...

А она ему отвечает: «Нет, мой Христо, не тебе теперь, а мне уж надо твои руки целовать и господином тебя называть. Ты теперь мне глава, душенька мой... Пожалей ты меня...» А тот уж не слышит ничего, бежит за попом...

А Смарагда от радости тут же к нам прибежала и все моей жене рассказала, вот так, как я тебе говорю.

Я сижусь, слушаю соседа и думаю: «Постойте,

анафемский вам час, Афродита и брат мой! Теперь сам паша пошел, разведут все-таки вас. Никифор Акостандудаки человек сильный и богатый! Разведет дочь, и с деньгами, все-таки, жених ей найдется».

И говорю соседу, как будто жалея их: «Не развели бы их!» А сосед отвечает: «Это, конечно, возможно». Он ушел, а я остался один опять в большой тоске. Все было противно, точно я сам был проклятый какой-нибудь. И даже стыдился по-прежнему на людей смотреть, которые к доктору в дом приходили.

Однако раз доктора не было дома, я из своей комнаты слышу — в приемной докторша с кем-то громко разговаривает и как будто спорит. Подошел я к двери, поглядел в щель и вижу, кто-то сидит задом к дверям на кресле; вижу только, что хорошо одет по-критски, в тонком, коричневом сукне, вижу высокую феску и красный кушак. Как будто Никифор, а наверное не могу сказать. Когда я подумал, что это Никифор, мне очень захотелось войти туда, помириться с ним и попросить у него прощения. Докторша говорит: «Это все благополучно кончится». А мужчина отвечает ей

(и тут я узнал голос Никифора): «Хотел бы я и сам хоть этого разбойника младшего видеть и спросить его что-нибудь, но боюсь взглянуть на него». Я тотчас вошел, поклонился ему и говорю: «Кир-Никифо-ре, простите мне во имя Божие. Умоляю вас! Я много виноват пред вами, и я через это уже был много наказан».

Так я сказал, но Никифор тотчас же вскочил с кресла; лицо стало багровое, глаза ужасные, и он закричал: «Убийца! Злодей! Оскорбил ты меня... Меня! меня... Рот вязать... Дитя несмышленное и злое... За мое гостеприимство!..» Докторша говорит ему: «Успокойтесь! Спросите его, он всю правду скажет вам... Я вам говорила, и муж мой объяснял вам всю правду. Успокойтесь». Я стою перед ним сложив руки, опустив глаза в землю, и повторяю:

«Простите мне, кир-Никифоре!» Он с минуты тоже постоял предо мной и глядел на меня с великим гневом и молчал; потом вдруг махнул рукой и закричал: «Нет! Нет! Я этого не могу им простить... Будь они прокляты, анафемы! Не могу, не могу!..» Закрылся руками и ушел. А я говорю докторше:

— Нет, кира моя, пока этот человек мне не простит, и сам Бог не простит мне...

## XX

Пока я жил у доктора, Халиль-паша кончал все дела свои в наших Сфакиотских горах. Люди, которые были при нем, рассказывали, как он был весел и доволен, что перессорил христиан друг с другом. Эти жалобы горожан на сфакиотов были ему великою радостью! «Христианам же, мирным торговцам, в угоду он на сфакиотских клефтов этих походом идет». Вот причина хорошая! Так он был весел, что над своим драгоманом, над этим бедным Миха-лаки, смеялся и пугал его.

Говорят люди, он все спрашивал его:

— Господин Узун-Тома, как твое здоровье?

— Хорошо! паша-эффендим! прекрасно!

А паша ему: «Я очень рад, что тебе прекрасно! Погоди, еще лучше будет! Сфакиоты и в древней Элладе вашей славились, как стрелки первые в свете. Тут каждый камень и каждый куст не то, что у нас внизу камень и куст. Тут человек за каждым кустом и за камнем».

А Узун-Тома: «Долг мой, эффенди, долг!.. Где вы, там и я должен за счастье и блаженство считать быть с вами!»

А паша ему: «Хорошо! Погоди, погоди! Ваши греки хуже черногорцев. Я все думаю, чтобы с тобой не случилось того, что с одним другом моим, полковником... Ему на войне черногорцы нос отрубили... И тебе отрубят, увидишь...» Тот все свое: «Долг, мой эффенди, долг!.. Что делать!» И дрожит.

Так пугал Халиль-паша своего драгомана. Но сам он был спокоен и знал, что делал. Я говорил, что он был умнее и хитрее нас! Увы!

Он все устроил, все приготовил и все сделал скоро и неожиданно.

Как только Никифор Акостандудаки принес ему жалобу на нас, он сказал ему: «Ты бы нашел себе и других людей, которые бы тебя поддержали; больше будет жалоб, больше наказания. Только не медли».

Никифор в гневе на нас великом тотчас набрал много людей; одни тоже были обижены сфакиотами, а другие предательствовали в угоду Никифору и другим богатым людям.

Паша слушал их, слушал и вдруг приказал

выступить войску небольшими отрядами в наши горы. И никто не знал сначала, зачем идут и куда пошли войска. Сам же с небольшою стражей вслед за ними выехал, потом обогнал пехоту и поехал смело вперед с одною этою стражей и чиновниками.

Разнеслась везде весть: «Паша в Сфакию пошел!»

У нас к восстанию были не приготовлены. Люди побежали из жилищ своих. Только немногие оставались дома; однако везде оставляли продовольствия для войска обильно; нарочно, чтобы покорность свою показать. Такой ужас напал на людей, что не понимали, что им делать теперь.

Халиль-паша везде, где останавливался и где видел хоть немногих людей, был с ними очень милостив. И посылал тех людей, которых видел, сказать другим: «Паша не войной идет, а только городские люди, и христиане, и турки, все жалуются на нестерпимые разбои ваши. Вот и Никифорову дочку силой у отца увезли из дома. Выдайте мне вот тех и тех людей; приведите сами. Вы ведь подданные султана верные и послушные». Тогда старшинам



и капитанам было делать нечего. Стали они брать людей и

привозили их к паше. Иные скрылись, а иные нет. Иные сами к нему явились, чтобы краю не было чрез них худа.

Паша никого из них строго не наказал. У него хорошая политика, анафемский час его! Ему нужно было показать только, что есть дорога в Сфакию для умного человека.

Пришли поклониться ему все капитаны. И Коста Ам-пелас. С ними же и брат мой Христо и товарищи его приехали. И Афродиту самое Халиль-паша приказал привезти к себе. Привезли и ее вместе с братом; они уже были обвенчаны. Но брата, в угоду паше, привезли связанного; а она свободная ехала. Говорят, она упала в ноги капитанам и просила мужа не связывать. Но Христо сказал: «Пусть свяжут. Все-таки я был не прав!»

Когда их привезли к паше, паша узнал, что они уже обвенчаны, он очень удивился и велел пригласить ее. Афродита поклонилась, стала у дверей и заплакала. Паша ужасно стал жалеть ее и сказал ей: «Сядь, сядь. Не бойся, моя дочь. Я защитит тебя, а не вре-

дить тебе пришел».

О деле он у нее и не спрашивал сначала; а стал спрашивать, долго ли она в Сире была, чему училась, по-французски знает ли. И когда она сказала, что не знает, паша говорит: «И не надо, дочь моя, и не надо! мне нравится, что ты так хорошо по-гречески говоришь. У вас свой язык лучше всех!»

Потом, когда она успокоилась и стала смелее, паша сказал ей: «Не бойся, мы этих негодяев-мальчишек накажем и тебя к отцу возвратим. И брак твой ни во что сочтется, потому что он насилие... деспот-эффенди сейчас же разведет тебя. Так желал и отец твой Он тебя с нетерпением ждет. И я обещал ему, что сейчас же тебя отправлю. Ты желаешь к отцу?»

Афродита говорит: «желаю!»

Паша хотел уже отпустить ее и приказал старику-драгоману смотреть за ней и чтобы Смарагда наша была при ней. Но Афродита поклонилась и сказала ему со слезами: «Я вас прошу, паша мой, я умоляю вас, будьте так благо-утробны, чтобы моего мужа не наказывали. Потому, что я

во всем согласилась с ним». Паша даже встал, говорят, с места от удивления. «Вы разве любите этого негодяя?» — спрашивает. Она говорит: «Да! я его люблю, потому что он мне муж!»

Паша говорит: «Это любопытно!», и велел ввести моего брата.

Когда же брата ввели, и он поклонился паше и стал около нее рядом у дверей, паша осмотрел его всего и сказал только: «а!» и поглядел, говорят, на всех своих с улыбкой и еще сказал: «а? господин Узун-Тома! что ты об этом скажешь?»

— Как вы прикажете! — кинулся тот к нему. Паша все улыбается: «я у тебя спрашиваю!», тогда Узун-Тома: «имеет она основание, паша господин, имеет основание!..»

— Вот и я то же думаю, — говорит паша, — что она имеет основание...

А Узун-Тома все кланяется: «молодость, физическая вещь, эффендим! физическая вещь!», а паша ему еще: «ведь и у тебя есть дочка молодая... а если она убежит так?..»

— Нет, — говорит Узун-Тома, — пока вы будете главный здесь, подобные беспорядки не

повторятся. Вы в страх и трепет привели уже одним мановением вашим весь остров сей!..

Тогда паша приказал Афродиту везти все-таки к отцу; а брату Христо сказал: «я тебя велю развязать, но ты тоже должен в город ехать, и там разберем ваше дело».

Капитаны, которые были в гневе на брата за все это, говорили паше: «Прикажите в цепи самые тяжелые его заковать! он уйдет».

Но паша сказал: «Нет, пусть так с молодой женой вместе едет в город. Вот она ему цепь. Он ее не оставит. Мы теперь с вами поговорим».

Да! вот тут он начал о том, зачем приехал. И начал речь о податях, и о порядках, и о покорности, чтоб и они были так же, как другие люди острова нашего.

Люди наши смирились и начали собирать деньги... и собрали, а паша поехал домой...

Аргиро *задумывается*. — А потом?.. Как же ты увидался с братом и с Афродитой, и что вы друг другу сказали, когда увидались?

Я ни. — Потом... *молчит и вздыхает* — оставим теперь это все, моя голубка, скучно мне что-то.

*Аргиро уходит в дом заниматься хозяйством.*

## XXI

*Яни один сидит у дверей своих задумчиво.* — Анастасий Пападаки говорит правду. «Вы с братом, говорит он, все-таки вред родине сделали. Положим, что сфакио-тов ваших теснить беспрестанно туркам не легко. Место ваше слишком недоступное. Однако уж и то дурно, что паша к вам дорогу узнал и с тех пор от времени до времени посещает Сфакию и не боится. Вам с братом Христо прежде всех надо за Крит наш отдать и деньги и головы ваши!.. Теперь вы разбогатели». Да! «Будет у нас скоро восстание», — говорит он. Он прямо из Афин теперь и все тайны знает. Он хотя человек и простой, а умеет, собака, дорогу ко всем великим людям находить, и Комун-дурса знает, и Делгияни, и Дели-Георгия... Сколько раз со стариком Булгарисом говорил... Конечно, это правда, долгая жизнь без войны, что это такое? Гнилая жизнь! Только вот, Аргиро оставить мне теперь... Только что человек взял жену молодую, узнал, что такое удо-

вольствие на этом свете, что такое приятная жизнь... Боже мой и Всесвятая! Это разве не рай, теперь моя жизнь... И деньги есть и все... Что делать! Увы мне! Увы мне!!! Однако и то сказать. Первый я, что ли, поеду на войну от молодой жены!.. Разве это не стыд, сокрушаться? Разве с войны люди домой не приходят? Любопытное дело, как это человек вдруг всю смелость потерять может... *(Достает письмо Афродиты и перечитывает его.)* Аргиро не стала дочитывать письмо. Она, бедняжка, не так-то грамотна и тяготится долго читать рукописания. Женщина, как только увидела, что ничего любовного нет, так и бросила; а тут есть нужные вещи... *(читает):*

«Любезный супруг мой и брат ваш господин Христо братски лобзает вас и, отправляясь на время в Афины, приказал мне вам еще сказать, чтобы вы Анастасию Пападаки верили во всем. Будьте спокойны: все готово для великой цели. Супруг мой, подобно другим, исполнит свой долг для свободы и славы отчизны, и он надеется, что и вы, Иоанне, последуете его примеру!» *(Задумывается опять, потом встает и делает рукой движение, как*

*будто ятаганом.*) Раз! два! Полетели головы турецкие... Хорошо говорил Никифор тогда о том черногорце молодом, что диплом имел такой: «срубил уже пять турецких голов!» Я ведь и прежде всегда думал о том, как хорошо быть воином, и изо всех икон в церкви мне всегда больше всех нравилась икона Архистратига Михаила, воин молодой, в латах и с мечом в руке... *(Прицеливается, как будто у него в руках ружье.)* Раз! Упал!.. «Браво тебе, Янаки наш Полудаки! Браво тебе! А ну-ка вот в того, в офицера пометь... Сказано, стрелок сфакийский... Раз!.. Пропал офицер... Браво тебе, Полудаки. Что за золото у нас сфакиоты, эти разбойники... Собаки дикие они все... А лучше всех Полудаки!» Вот как надо... А жена здесь побудет с своими родными... Конечно, жалко мне! Что делать! Я имею душу и люблю ее! *Запеваает унылую песню.*

Аргиро *выходит из дома, снова садится около него с работой и опять просит докончить рассказ.* — Мне бы хотелось узнать, как вы с Афродитой встретились и что вам с братом после турки сделали. Отчего тебя послали в изгнание, а брат в Крите остался?

Яни. — Что такое Афродита! Я тебе скажу и об этом, если хочешь, только это ничего не значит. Пустяки! Вот, когда их привезли в город, то разлучили тотчас же, Афродиту отвели прямо к отцу, а брата в тюрьму заперли. Никифор в лавке был, когда ему сказали, что дочь на муле к нему в дом прямо со стариком драгоманом проехала. Он, говорят, закричал от радости, заплакал, побежал по улице, всю свою важность и гордость забыл. Бежит по базару домой. Ничего не говорит, и слезы у него бегут, бегут по лицу... Так весь народ его видел и жалел: «Вот как его эти разбойники-мальчишки обидели! Глаза бы им вырвать надо!» А потом через день, через два люди другое заговорили. Все узнали, что брат уже обвенчан с нею и что Никифор гневается и старается развести их. Все стали говорить: «Вот глупый человек! На что ж ему теперь дочь порочная? Зять хороший молодец. Брак законный; поп венчал. Чего он теперь хочет, глупый?» Так переменились у людей скоро мысли. Никифор не уступает; к паше бежит, к епископу бежит, консулов иностранных просит; паша говорит: «Мне что! Это дело церкви.



Я накажу за похищение и разбой, за бесчинство вашего зятя». «Он мне зять? Он!.. Он злодей мне! Он побродяга!..» Паша еще прибавляет: «Вам, впрочем, господин Никифоре, это по заслугам. Зачем вы, горожанин мирный, такую тесную дружбу с этими сорванцами горными водите». Идет Никифор к епископу. А епископ ему: «Брак твоей дочери по желанию ее состоялся. Оставь уж это; что Бог соединил, людям зачем расторгать!» А дочь на колени пред ним: «Папаки! папаки! Я не хочу разводиться с Христо! Люблю его! Люблю всюю душой!» — «Отчего ты его любишь, псица! Псица ты анафемская! Распутная! За что? Ведь брат его, Яни, говорил доктору, что ты против воли обвенчана, что ты все плакала и отказывалась». — «Лжет, папаки, Янаки-брат, лжет от зависти. Он сам в меня влюблен.. Лжет он! Возьми, мой золотой папаки, Христо моего из тюрьмы...» — «Так, значит, негодная девчонка ты такая, твоего старого отца, ты сама теперь говоришь, вязать приказывала? А, так ты говоришь! Прочь, прочь от меня!» — «Нет, — говорит Афродита, — пусть я пропаду и погибну сейчас, если я приказывала тебя

вязать. Такой грех... Богородица Госпожа моя! Разве может дочь на такое дело согласиться?.. Это они сами сделали». Никифор в словах ее путался и не знал, что подумать. Истерзали этого человека в те дни... Туда, сюда его тираният люди. Зверь был из себя и ростом и толщиной, похудел ужасно! Кричит: «Разведу ее! Разведу!» А епископ не разводит: «Дочь сама желала!»

Пришел он к доктору Вафиди при мне, сел на диван, заплакал и говорит мне: «Янаки, другим радость, а нам с тобой обида. Помиримся, мой сын! Поди сюда, обними меня. Ты чрез псицу эту, Афродиту мою, отравился и похудел, и я вот — смотри». И подsunул руку под жилет и показывает, как у него живот уменьшился... Я хотел еще раз ему в ноги поклониться и сказал ему: «Меня, господин Никифор, Господь Бог жестоко за вас наказал, но я вас еще раз прошу простить мне». Он обнял меня и сказал: «Ты проще брата, видно, сердцем, Янаки мой». А жена доктора ему: «И тот хорош, кир-Никифоре, и Христо хороший... Простите и его... Простите». И я говорю: «Простите брата... Простите!» И доктор к нему: «Э!

прости, прости, зять он тебе теперь... Да и герой он какой... Он у нас, погоди еще, полководцем будет при случае». Видишь, Вафиди даже бунтовщиком и патриотом ужасным притворился, чтобы только помирить нас всех и чтобы сказать что-нибудь в угоду Никифору. А у меня от радости, что мне Никифор простил, сердце смягчилось, и я кланяюсь ему и умоляю его:

— Вы, господин Никифор, не сами ли нас хвалили и говорили прежде, что мы отечеству надежда... Не гордитесь же, что брат не богат: он вам всячески заслужит за это после...

Никифор смирился и сказал, что он примет брата. На другой день брата паша выпустил из тюрьмы часа на три, и он пошел к тестю и к молодой жене в дом. Пошел и я туда обнять брата и поздравить его. Пили мы все там вино. Афродита всю одежду и белье на брате переменяла и сокрушалась, как это ему в тюрьме быть. Никифор как выпил и говорит дочери: «Ты, птичка моя, что смотришь? Поцелуй при мне мужа». Они поцеловались. Тогда Никифор топнул ногой и кричит:

— Извольте видеть! Извольте видеть разбойника! А, bastardico! И рукой своею еще придерживает ее за шею... Э! ну, воля Божия... Что делать!..

И всем была радость! Брат, я видел, очень жалел меня; он обнимал и целовал, и звал меня: «Янаки мой, сын мой! Я тебя не обижу и не забуду никогда!» И уходя опять в тюрьму, приказал Афродите посещать меня без него, и чтобы сделала все, чтобы со мною примириться. Афродита приходила ко мне с большою роскошью: платье шелковое небесного цвета; шляпка белая с белыми цветами; зонтик с бахромой; перчатки, благоухания... Я ей все так холодно! Она мне ласково: «Янаки мой, Янаки мой!» А я ей угрюмо: «Кира моя, кира моя!» Неприятно мне все-таки было ее видеть. Так она и ушла. Помирились мы уже позднее. Наконец решил паша нашу участь. Наши сфакиотские начальники были противу нас за то, что Сфакия чрез нас пострадала; а Никифор и городские люди теперь уже за нас у паши старались, чтоб облегчить нам наказание. Паша решил, чтобы всех нас, которые помогали, меня, Антонаки и Маноли, в

изгнание отправить. А брата в тюрьме год строго продержат, чтобы в дома не врывался для похищений. Но была тут хитрость великая! Афродита сама, по совету отца, ходила просить пашу, чтобы брата не изгонять; и хотя, по-видимому, наказание ему строже было, но ни в шкаф узкий никто его не ставил, как докторша тогда пугала, ни даже цепей никаких на него не надели, и месяца не прошло, как взяли его сильные люди на поруки, и пошел он к тестю в дом, и стали они жить прекрасно. Я собрался ехать в Сиру и потом сюда, и Никифор сам принес мне на дорогу пятьдесят золотых лир и сказал уже шутя: «Это брат тебе твой посылает за то, что ты ему разбойничать у меня в доме пособлял и завязывал мне рот, на здоровье тебе». Также и Антонаки и Маноли обоим брат помог деньгами. Никифор ему все свое хозяйство поручил. Через год, не больше, всех нас простили; Антонаки и Маноли вернулись в Крит; а я остался здесь, и судьба мне вышла здесь с тобой... Вот твои глаза черные удержали тут меня. И с тех пор я и в Крит все не хотел... *(Останавливается и молча глядит пристально на Аргиро.)* Да! Я

все не хотел... А теперь хочу...

Аргиро смотрит на него вопросительно.

Яни. — Теперь опять хочу... (Беспокойно *взглядывает еще раз на нее.*) Если будет восстание... пусти меня!..

Аргиро *опускает глаза на работу.* — Иди!.. (Начинает потихоньку плакать.)

Яни *взволнованным голосом.* — А ты что будешь делать, когда я буду сражаться?

Аргиро. — Я? *пожимая плечами.* Мне что делать одной без тебя! Я буду Богу молиться...

Стучатся в дверь. Входит полный мужчина с большими усами, Анастасий Пападаки, в европейском платье, в широкой шляпе, и говорит, обращаясь к Яни и подавая ему бумагу с величайшим энтузиазмом:

— Янаки! Читай! Пошло дело наше! Капитаны критские воззвание к оружию обнародовали... Zito!.. *Машет шляпой и обращается к Аргиро восторженно:* Не плачь, кира моя, не плачь... Будь эленидой крепкою!.. Положи себе сталь в сердце твое!.. Муж твой вернется к тебе героем, капитаном великим, кира моя! Не бойся, не бойся, милая дочка моя! Он вернется к тебе, и ты сладкими поцелуями твои-

ми смоешь с рук его вражью турецкую кровь!  
Zito!

Аргиро начинает рыдать.

# Примечания



Впервые: Русский Вестник. 1877. Т. СХХVII. Кн. 1. Кн. 2. Т. СХХVIII. Кн. 3. Здесь по: ПССиП. Т. 3. СПб., 2001. С. 537-659.

[^^^]

## 2

Молодцы с бешеною кровью.

[^^^]

Епископ.

[^^^]

## 4

На Афоне в иеромонахи предпочитают посвящать людей, сохранивших целомудрие во время мирской и безбрачной жизни.

[^^^]

# 5

Бурнус из темного толстого сукна.

[^^^]

Фрак.

[^^^]

Из Египта.

[^^^]

Шляпа.

[^^^]



Торговля в критских городах преимущественно в руках местных мусульман, греческого же происхождения; в этом отношении Крит не сходен с другими городами Европейской Турции, где мусульмане обнаруживают мало коммерческих способностей.

[^^^]

Католический священник.

[^^^]

Старче мой. Старче мой.

[^^^]

Пышность, великолепиие.

[^^^]

Истинное событие.

[^^^]

У греков есть исстари привычки в просторечии *христианами* называть только *православных*, противопоставая их не только туркам и евреям, но и армянам и *франкам*.

[^^^]

*Эдирне* — Адрианополь.

[^^^]

*Теперь, т. е. в 1866 году.*

[^^^]



*Эмпор* — негоциант, богатый купец.

[^^^]

Барышня.

[^^^]

На — на, На — на! — баюшки-баю!

[^^^]

Иоргаки — Егорушка.

[^^^]

Алтаря.

[^^^]

Смотри повесть «Хамид и Маноли», там эти исторические события описаны.

[^^^]

Незаконный сын, бранное слово.

[^^^]